

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Блоха и профессор



Жил-был воздухоплаватель. Ему не повезло, шар его лопнул, и сам он упал и разбился. Сына же своего он за несколько минут перед тем спустил на парашюте, и это было счастьем для мальчика, – он достиг земли целым и невредимым. В нём были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплавателем, как отец, но у него не было ни шара, ни средств на приобретение его.

Жить, однако, чем-нибудь да надо было, и он занялся фокусничеством и чревоуещанием. Он был молод, красив собою и, когда возмужал, да отпустил себе усы и стал ходить в хороших платьях, то мог сойти хоть за природного графа. Дамам он очень нравился, а одна девица так прямо влюбилась в него за его красоту и ловкость и решилась разделить его скитальческую жизнь по чужим странам. Там он присвоил себе титул профессора, – меньшим уж он не мог довольствоваться.

Заветною мечтою его было приобрести себе воздушный шар и подыматься на нём вместе с молодою женой, да вот беда – денег не было.

– Ну, когда-нибудь да они придут к нам! – говорил он.

– Если только захотят! – отвечала жена.

– Что ж, люди мы, ведь, ещё молодые, а я уже профессор! И

крошки, ведь, тот же хлеб!

Жена всячески помогала мужу, сидела у дверей и продавала билеты на представления, а холодное это было удовольствие зимою! Помогала она ему также и в одном фокусе. Он прятал её в ящик стола, в большой ящик, а она оттуда перебиралась в задний ящик, и в переднем её уже не оказывалось. Выходил как будто обман глаз.

Но однажды вечером, когда он выдвинул ящик, оказалось, что жена исчезла взаправду! Её не было ни в переднем ящике, ни в заднем, не было во всём доме, – исчезла без следа! Это уж был её фокус! Она так и не вернулась к нему больше; жене наскучила эта жизнь, а муж стал так скучать по жене, что утратил свой весёлый нрав, не мог больше шутить и паясничать, и публика перестала ходить на его представления. Заработки стали плохие, платье изнашивалось; под конец из всего имущества осталась у профессора одна большая блоха, – память о жене; немудрено, что он души не чаял в этой блохе! Он выдрессировал её и обучил разным штукам: делать на караул ружьём и стрелять из пушки – конечно из маленькой.

Профессор гордился своею блохою, а она гордилась собою: она, ведь, обучилась кое-чему, в ней текла человечья кровь, и, кроме того, она побывала в разных городах, показывала свои фокусы перед принцами и принцессами и удостоивалась их высокого одобрения. Об этом говорилось и в газетах, и в афишах. Блоха сознавала себя знаменитостью, знала, что в состоянии прокормить не только своего профессора, но хоть целую семью.

Она была горда, знаменита, но увы! путешествуя со своим профессором по железным дорогам, всегда занимала место в четвёртом классе! Что ж, и в четвёртом едешь, ведь, не тише, чем в первом! Блоха и профессор вступили друг с другом в крепкий, хотя и молчаливый союз, дали друг другу молчаливый обет никогда не разлучаться, никогда не жениться. Блоха решила остаться в девицах, профессор – вдовцом. Одно стоило другого. – Туда, где произвёл наибольший фурор, нельзя заглядывать второй раз! – говаривал профессор; он знал людей, а это, ведь, тоже кое-что значит.

Но вот, наконец, он побывал во всех странах, кроме страны дикарей, и решил отправиться туда. Правда, он знал, что дикари поедают христиан, но сам он был не настоящий христианин, а блоха не настоящий человек, так он и порешил, что они могут отважиться на такое путешествие и даже заработать там хорошие денежки.

Часть пути они сделали на пароходу, часть на парусном судне; блоха проделывала свои штуки, и таким образом дорога окупилась. Наконец, они прибыли в страну дикарей.

Страною правила маленькая принцесса; ей было всего восемь лет, но она уже правила. Принцесса просто-напросто отняла власть у отца и матери, – она была страсть какая своевольная, да к тому же на диво миленькая и непослушная.

Как только блоха показала свои штуки: сделала ружьём на караул и выстрелила из пушки, принцесса влюбилась в неё и воскликнула:

– Она или никто! Я выйду за неё замуж!

Принцесса совсем одичала от любви, а и без того-то уж была дикая.

– Милое, дорогое дитячко! Умница ты наша! – заговорил её отец.

– Да если бы можно было сначала сделать из блохи человека!

– Не твоё дело, старый! – отрезала принцесса, и это было с её стороны не очень-то мило, – она, ведь, говорила с отцом. Но уж такая она была дикая!

Она посадила блоху себе на руку и сказала ей:

– Теперь ты человек и царствуешь вместе со мною! Но ты должна делать, что я хочу, иначе я убью тебя и съем профессора!

Профессору отвели большой зал. Стены были из сахарного тростника, – знай лижи себе вволю, но он не был лакомкой. Вместо же постели ему дали висячую койку, и он покачивался в ней, как в корзине воздушного шара, о котором не переставал мечтать.

Блоха осталась у принцессы, сидела на её маленькой ручке и на шейке: принцесса выдернула у себя из головы волос, и велела профессору обвязать его вокруг ножки блохи, другой же конец волоса прикрепила к большому куску коралла, красовавшемуся у неё в ухе.

То-то настало блаженное времечко для принцессы, да и для блохи тоже – по мнению первой. Но профессор не был доволен: он был путешественник в душе, любил странствовать из города в город и читать в газетах похвалы своему терпению и ловкости, которые помогли ему обучить блоху разным человеческим штукам. Изю дня в день качался он в своей койке, ничего не делая, только ел да пил. Пища ему отпускалась хорошая: свежие птичьи яйца, слоновьи глаза и жареные ляжки жирафа. Людоеды питаются не одним человеческим мясом; оно у них только считается самым изысканным блюдом.

– Особенно хороши детские плечики под крепким соусом! – говорила мать принцессы.

Профессор скучал и рвался вон из страны дикарей, но не мог же он оставить здесь свою блоху, – она, ведь, была его славой и кормилицей. Да как же заполнить её? Задача нелёгкая!

Он напряг все свои мыслительные способности и, наконец, воскликнул: «Нашёл!»

– Принцессин отец! Разреши мне заняться чем-нибудь! Разреши обучить всех жителей страны делать на караул! В величайших странах мира это служит признаком высшей образованности!

– А чему ты можешь научить меня? – спросил отец принцессы.

– Моему высшему искусству! – сказал профессор. – Искусству палить из пушки так, что вся земля начнёт дрожать, а с неба посыплются вкуснейшие жареные птицы! Вот как!

– Давай сюда пушку! – сказал отец принцессы.

Но во всей стране не нашлось ни одной пушки кроме той, которую привезла с собою блоха, но эта была чересчур мала.

– Я отолью большую! – сказал профессор. – Только дайте мне материалы! Мне нужны тонкая шёлковая материя, иголка и нитки, канаты и верёвки, а также желудочные капли для воздушных шаров, – они раздувают, поднимают шары на воздух, они же производят и взрыв в желудке пушки.

Всё, что он потребовал, было ему выдано.

Все жители страны сбежались посмотреть на большую пушку. Но профессор позвал их не раньше, чем шар был совсем готов наполниться газом и подняться.

Блоха сидела на руке принцессы и тоже смотрела. Шар наполнили

газом, он раздулся, и его еле удерживали, – он совсем одичал.  
– Мне надо будет подняться на воздух, чтобы пушка остыла! –  
сказал профессор и уселся в корзину, прикрепленную под шаром.  
– Но одному мне не справиться! Мне нужен знающий помощник!  
Кроме же блохи никто не годится!

– Не очень-то я охотно отпускаю её! – молвила принцесса, но  
всё-таки отдала блоху профессору. Тот посадил её себе на руку.  
– Теперь отпустите верёвки и канат! – закричал он народу. –  
Шар подымается!

И вот, шар стал подыматься всё выше да выше к облакам, и  
улетел из земли дикарей.

А принцесса, мать её, отец и весь народ всё стояли да ждали.  
Они ждут и посейчас, а не веришь, поезжай сам в страну  
дикарей, – там каждый ребёнок говорит о блохе и профессоре и  
верит, что они вернутся, когда пушка остынет. Но они и не  
думают возвращаться: они давно дома, на своей родине и  
разъезжают по железным дорогам уже в первом, а не в четвёртом  
классе. Теперь они много зарабатывают, – у них свой большой  
воздушный шар. Никто не спрашивает, как и где они его добыли,  
– они, ведь, теперь люди со средствами, всеми уважаемые – и  
*блоха, и профессор.*

(Голосов: 1. Рейтинг: 5,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Тётушка Зубная Боль

Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старую бумагою.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь завёртывать крахмал, кофе, селёдки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот, в бочку часто попадает то, чему бы вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он собственно сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него, ведь, под рукой целая бочка всякого чтения и печатного, и рукописного. И вот, мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят между прочим кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или рассеянного чиновника, и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше – и подавно! Собрание моего знакомого – настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок – хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц, которые стоило перечесть и два раза.

Он и показал мне однажды своё собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлечённых главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради; необыкновенно красивый и чёткий почерк сразу бросился мне в глаза.

– Это писал студент! – сказал молодой человек. – Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось немного, а была целая тетрадь; родители мои дали за неё квартирной хозяйке студента полфунта зелёного мыла; но вот всё, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь.

Заглавие гласило:

## Тётушка Зубная боль.

«В детстве тётушка страшно пичкала меня сладстями; однако, зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она всё ещё продолжает угощать меня сладким – уверяет, что я поэт.

Во мне правда есть кое-какие поэтические задатки, но я ещё не настоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж – книжной полкою. На них стоят и «обыкновенные истории», и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая «литературная гниль», и хорошие произведения – словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю!

Да, во мне есть поэтическая жилка, но я ещё не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих людях, а они всё-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от Бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые – вспомнить не можешь.

На днях вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок – свежий зелёный листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жилок. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно вспомнил о человеческой мудрости. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и всё-таки сплеча берёмся читать лекцию о всём великом дереве – и о корне его, и о стволе и о вершине: мы толкуем и о Боге, и о человечестве и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тётушка Миллэ. Я показал ей листок с

букашкой и передал, что мне пришло по этому поводу в голову. Глаза у тётушки загорелись.

– Да ты поэт! – вскричала она. – Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена, поражал меня своею удивительною фантазией! – С этими словами тётушка расцеловала меня.

Кто же такая была тётушка Миллэ, и кто такой пивовар Расмусен? Тётушкой мы, дети, звали тётку нашей матери; другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя всё это могло испортить наши зубы, но она не могла не побаловать нас: она, питала к милым деткам такую слабость и считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тётушку.

Она была старою девою, и с тех самых пор, как я её помню, всё одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тётушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг её, пивовар Расмусен, прозвал её «тётушкой Зубною болью».

Он в последние годы уже оставил своё занятие и жил доходами с капитала. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только чёрные корешки. Дело в том, – рассказывал он нам, детям – что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тётушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого, – зубы у неё были белые-пребелые!

– Зато она и бережёт-то их как! – говорил пивовар. – Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намёк, но тётя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон – будто бы у неё выпал зуб! – И это означает, – прибавила она: – что я лишусь истинного друга или подруги!

– Ну, а если это был фальшивый зуб, – усмехнулся пивовар: – то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

– Вы – невежливый старый господин! – сердито проговорила

тётушка; такую сердитую я не видывал её никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг её хотел только пошутить, что он благороднейший человек в свете и когда умрёт – станет Божиим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?

Когда и тётя и он были ещё молоды, он сватался за неё, но она слишком долго раздумывала, ну, и засела в девах, хотя и осталась ему верным другом.

И вот, пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице; за нею тянулся длинный хвост провожатых; между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тётушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принёс нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие её; улица опустела, и тётушка хотела отойти от окна, но я не хотел – я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился, ведь, теперь в ангелочка с крылышками и должен был показаться нам!

– Тётя! – сказал я. – Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас или, может быть, его принесёт аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тётушка была просто поражена моею богатою фантазией и сказала: «Из этого мальчика выйдет великий поэт!» И она повторяла это всё время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже подтверждался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тетюшка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моём поэтическом и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

– Только выливай на бумагу все твои мысли! – говорила она. – И бросай их в ящик стола! Так делал Жан-Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюбливаю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провёл в муках, сгорая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала

во мне тётушка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть ещё худший недуг: зубная боль! Та могла доконать, уничтожить меня вконец, превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

– Мне эта боль знакома! – говорила тётушка, сострадательно улыбаясь, а зубы её при этом так и сверкали белизною.

Но теперь наступает новая глава, как в описании моей жизни, так и в описании жизни тётушки.

Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже с месяц и вот как описывал своё жилище в разговоре с тётушкой.

– Живу я в «тихом семействе»; хозяева не обращают на меня внимания – даже если я звоню три раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать под ними телеге – все картины так и заходят по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается, словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдаётся у меня во всём теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один час, а так понемножку, один за другим, кто – поздним вечером, кто – даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется прежде, чем совершит маленькую ночную прогулку взад и вперёд по комнате; тяжёлые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагой, но ветер всё-таки пробирается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я, наконец, усну под неё, меня живо разбудит петушиное ку-ка-ре-ку. Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчике под лестницею, – для них не имеется особого стойла – лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всей семьёй на

чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это всё кончено, над головой моею начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берёт в обе руки по тяжёлой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом, – свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живёт! И всё-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом семействе!

Вот как я описал тётушке моё житьё-бытьё. Описание это вышло в устной передаче ещё живее; устное слово всегда, ведь, свежее, жизненнее написанного!

– Ты положительно поэт! – вскричала тётушка. – Только изложи всё на бумаге, и ты – тот же Диккенс! А по мне так и ещё интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот всё и видишь перед собой, сама переживаешь всё! Брр! даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи в свои описания и живых лиц, людей, хороших, милых людей, лучше же всего – несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

Дело было зимою, поздно вечером, по окончании спектакля в театре. Погода стояла ужасная, такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тётушка отправилась в театр и взяла меня с собой, – я должен был потом проводить её домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тётушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы взяли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тётушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец, мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и всё-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы поснимали с себя и верхнее, и нижнее платье, всё, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тётушке сухие чулки и чепчик – самое необходимое, по словам доброй женщины – и затем совершенно резонно объявила, что тётушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому, – так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так всё и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился самовар, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тётушки. У неё зимою и двери, и окна плотно завешены толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен ещё тройной слой толстой бумаги, – сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной тёплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер.

Тётушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен, и проч. Тётушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот, выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это ещё только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такую болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец, настает день – нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты – старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тётушкой всё-таки заговорили о них, вернулись затем к годам

детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь когда тётушка, наконец, удалилась на покой в соседнюю комнату. – Покойной ночи, милый мой мальчик! – крикнула она мне из-за двери. – Теперь я засну, словно на своей собственной постели! И она угомонилась, но дом наш и погоду никакой угомон не брал! Буря дребезжала оконными стёклами, хлопала длинными железными болтами ставень и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперёд, потом швырнул на пол свои сапожищи и, наконец, захрапел так, что слышно было через потолок.

Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!.

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурей. Тени скользили и перебегали, но, наконец, одна из них приняла определённые очертания; я смотрел на её движения и чувствовал, что меня пробирает мороз.

На полу сидело видение, худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам – руки, две внизу – ноги, и многоугольник наверху – голову.

Скоро видение приняло ещё более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но всё же ясно указывающее на особу женского пола.

Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел, или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная боль, исчадие самого ада! Да сохранит и помилует от неё Бог всякого! – Тут славно! – гудела она. – Славно местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого, и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливных косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, наполню корни сквозняком! То-то засвистит в них! Ужасные речи, ужасная гостья!

– А, так ты поэт! – продолжала она. – Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя калёным железом, продёрну верёвки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскалённое шило; я скорчился от боли, начал извиваться, как червь.

– Чудесный материал! – продолжала она. – Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости – тромбон! Великому поэту великая и музыка!

И вот, она начала играть! Вид у неё был ужасный, нужды нет, что я видел одну её руку, эту туманную, холодную, как лёд, руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный – буравом, и мизинец – спринцовкой с комариным ядом.

– Я научу тебя всем размерам! – опять начала она. – Великому поэту – великая и зубная боль, а маленькому поэту – маленькая!

– Так пусть я буду маленьким! – взмолился я. – Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

– Так ты признаёшь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? – спросила она. – Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я, ведь, и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да, уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

– Верю! – сказал я. – Верю всему! Уйди же, уйди!

– А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи – на бумаге, грифельной доске, на чём бы то ни было? Тогда я оставлю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмёшься за стихи!

– Клянусь, оставлю всё! – сказал я. – Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

– Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом

для тебя образе – в образе тётушки Миллэ, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый мальчик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!» Но если ты согласишься мне и возьмёшься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и разыграю её на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседуя с тётушкой Миллэ!

Тут она исчезла.

На прощанье я получил в челюсть ещё один укол раскалённым шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелёными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, распадались в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!.. «Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имён, надписи на развевающихся победных знамёнах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-подёнки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тётушка, распахнулась. Тётушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал – рассказывала она мне потом – сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тётушка ночевала тут в доме, но потом припомнил всё, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

– А ты не писал чего-нибудь вечером, после того, как мы попрощались? – спросила тётушка. – Ах, если бы ты писал! Ты, ведь, у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-прелукаво улыбнулась, и я уж не знал – любящая ли это тётушка Миллэ предо мною или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

– Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?  
– Нет, нет! – вскричал я. – А ты... ты – тётушка Миллэ?  
– А то кто же? – сказала она. И впрямь это была тётушка Миллэ. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой. Я, однако, решился написать то, что тут написано: это, ведь, не стихи, да и напечатано никогда не будет!..»  
На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обёртки для селёдок, масла и зелёного мыла – выполнила своё назначение!  
Пивовар умер, тётушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории – истории о тётушке Зубной боли!

(Голосов: **1**. Рейтинг: **5,00** из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Сидень



В старой барской усадьбе жили славные молодые господа. Жили они богато, счастливо, себе ни в чём не отказывали и других не забывали – делали много добра: им хотелось всех видеть такими же счастливыми, довольными, какими были сами.

В сочельник в богатой зале замка зажигалась великолепно изукрашенная ёлка; в камине ярко пылал огонь, а рамки старых картин были окружены венками из еловых ветвей. К господам собирались гости, начиналась музыка, танцы.

А пораньше, под вечер, рождественское веселье устраивалось и в людской. Тут тоже красовалась большая ёлка, пестревшая красными и белыми свечками, национальными флагами, бумажными лебедями и сеточками, наполненными сладостями. На эту ёлку приглашали также всех бедных ребятишек из окрестности с их матерями. Матери не очень-то заглядывались на ёлку, а больше всё поглядывали на стол с подарками: шерстяными и бумажными материями на платья и штанишки. Туда же смотрели и дети постарше, и только малыши тянулись ручонками к свечам, мишуре и флагам.

Вся эта пёстрая компания являлась сюда рано после обеда и угощалась рождественской кашей и жареным гусём с красной капустой; после же того, как все успевали досыта налюбоваться ёлкой и получить свои подарки, каждому подносили ещё по чарочке пунша, да по яблочной пышке.

Затем гости расходились по своим бедным лачугам, и там-то начинались разговоры о том, как славно живётся барам – как они сладко едят и пьют, а, наговорившись, все принимались ещё раз хорошенько разглядывать свои подарки.

В услужении у господ жили также Оле и Кирстина – муж с женою. Они были приставлены к господскому саду в помощь садовнику и получали за свой труд помещение и стол. Кроме того, на их долю каждый сочельник доставались положенные подарки, и всех пятерых детей одевали на свой счёт господа.

– Много делают добра наши господа! – говорили муж и жена. – Ну да, ведь, на то у них и средства, чтобы доставлять себе этим удовольствие!

– Тут славные платья для четверых ребят! – сказал Оле. – Что же, нет ничего для сидня? Прежде они и его не забывали, хоть

он и не бывает на ёлке!

«Сиднем» прозвали они старшего сына; звали же его собственно Гансом. Малышом он был резвым, крепким ребёнком, но потом вдруг с чего-то «ослабел ногами» – как они говорили – не мог больше ни стоять, ни ходить, и вот лежал в постели уже пятый год.

– У меня есть кое-что и для него! – сказала мать. – Только не Бог весть что – книжка для чтения ему!

– Сыт он с неё будет, нечего сказать! – заметил отец.

Зато сам-то Ганс очень обрадовался книжке. Он был мальчик способный, любил читать, да и работать не ленился и трудился насколько хватало сил и умения. Он не сходил с постели, но руки у него были проворные, и он прилежно вязал шерстяные чулки и даже одеяла, которые госпожа помещица хвалила и покупала.

Книжка, что подарили Гансу господу, оказалась со сказками. Было ему теперь что почитать, о чём поразмыслить!

– А в доме-то от неё всё-таки пользы мало! – сказали родители.

– Ну да пусть себе почитает от скуки, не всё же ему чулки вязать!

Пришла весна; начала пробиваться травка, показались первые цветочки, а с ними и сорные травы, как, например, можно обозвать крапиву, хотя о ней так прекрасно сказано в псалме:

„Хотя бы всех земных царей  
Со всех концов земли созвать,  
То всё же властью им своей

Листка крапивы не создать!“<sup>[1]</sup>

В господском саду было поэтому много работы не только самому садовнику и его ученикам, но и Оле и Кирстине.

– Ну, и работа! – говорили они. – Только что мы выколем и вычистим все дорожки – их опять затопчут! Гости-то, ведь, у господ не переводятся! И во что это обходится им! Ну да и то сказать – куда ж им деньги-то девать?

– Да, мудрено распределено всё на свете! – сказал Оле. – Все мы дети одного Отца-Господа, говорит священник, откуда же

такая разница?

– Пошла она с грехопадения! – говорила Кирстина.

Об этом же зашёл у них разговор и вечером, когда «сидень» лежал и читал свои сказки. От нужды и тяжёлого труда огрубели не только руки, но и сердце и мысли бедняков; они не могли переварить своей бедности, не могли взять в толк её причин и, говоря о том, раздражались всё больше и больше.

– Одни живут в довольстве и в счастье, другие век свой должны мыкать горе! И с какой стати нам платиться за непослушание и любопытство наших прародителей! Мы бы на их месте ничего такого не сделали!

– Сделали бы! – сказал вдруг «сидень». – Вот тут в книжке всё сказано!

– Что там сказано? – спросили родители.

И Ганс прочёл им старую сказку о дровосеке и его жене. Они тоже бранили Адама и Еву за их любопытство, ставшее виной людского несчастья, а в это время мимо как раз проходил король той страны. «Идите за мною!» сказал он. «Вы будете жить не хуже меня; на стол вам будут подавать по семи блюд, да ещё одно сверх того, но на него вы можете только смотреть. Стойт же вам дотронуться до этой закрытой миски – конец вашему сладкому житью!» – «Что бы такое было в этой миске?» спросила жена. «Это нас не касается!» ответил муж. «Да я и не любопытствую!» продолжала жена: – «Мне только хотелось бы знать, почему нам нельзя приподнять крышку? Уж, наверно, там что-нибудь отменно вкусное!» «Только бы не какая-нибудь хитрая механика!» сказал муж. «Вдруг как выстрелит, да всполошит весь дом!» «Ой-ой!» сказала жена и не посмела дотронуться до миски. Но ночью ей приснилось, что крышка приподнялась сама собой, и из миски запахло чудеснейшим пуншем, какой подают только на свадьбах да на похоронах. Ещё в миске лежала серебряная монетка с надписью: «Напьётесь этого пунша и сделаетесь такими богачами, что все остальные люди будут перед вами нищими!» Тут она проснулась и рассказала мужу свой сон. «Ты слишком много думаешь об этом!» сказал он. «А что, если чуть-чуть приподнять крышку?» сказала жена. «Только чуть-чуть, смотри!» сказал муж. Жена приподняла крышку – чуть-чуть... Из миски выскочили два

юрких мышонка и шмыгнули в щёлочку. «Спокойной ночи!» сказал король. «Можете теперь отправляться восвояси! Да не браните больше Адама и Еву, – вы сами такие же любопытные и неблагодарные!»

– Как эта история могла попасть в книгу? – спросил Оле. – Ведь, она точно на нас написана! Да, тут есть над чем призадуматься!

На другой день они опять пошли на работу, и за день-то их и солнцем пожгло и дождиком до костей промочило. Опять накипело у них на душе, опять принялись они пережёвывать невесёлые думы и чувства. Отужинали они засветло, и Оле сказал Гансу:

– Ну-ка, прочти нам опять ту историю о дровосеке!

– Да тут много других хороших! – сказал Ганс. – Вы их ещё не знаете!

– И не надо! – ответил отец. – Я хочу слышать ту, которую знаю!

И муж с женою опять прослушали ту же сказку. И не раз ещё возвращались они к ней по вечерам.

– Не всё-то она мне, однако, распутывает! – сказал раз Оле. – Поди ж ты вот, и с людьми бывает, что с молоком, когда оно скисается: выходит и дорогой сыр и жидкая сыворотка! Иные так уж и родятся на счастье, да на радость, никакого горя, никакой нужды весь век не знают!

«Сидень» лежал и слушал. Он был слаб ногами, но не умом и вот, взял да в ответ на это и прочёл родителям из своей книжки сказку «о человеке, который сроду не знавал ни горя, ни нужды». Да, где только было искать такого человека? А найти его надо было: король лежал при смерти, и спасти его могла только рубашка с человека, который бы по правде мог сказать, что сроду не знавал ни горя, ни нужды. Разослали гонцов во все концы света, по всем замкам и усадьбам, ко всем зажиточным и довольным жизнью людям, но стоило хорошенько порасспросить их и оказывалось, что все они испытали и нужду, и горе. «А вот я – нет!» заявил один свинопас; он сидел у канавы и весело распевал песенку. «Я счастливейший человек на свете!» «Так давай сюда твою рубашку!» сказали посланные. «Тебе дадут за неё полкоролевства!» Но у него не было рубашки. А он всё-таки

называл себя счастливецем!»

– Вот так фронт! – вскричал Оле, и оба – и он и жена принялись смеяться, как не смеялись уже много лет.

А мимо их жилища проходил школьный учитель.

– Ишь какое у вас сегодня веселье! – сказал он. – Вот новость-то! В лотерею выиграла, что ли?

– Нет, не то! – сказал Оле. – Это вот Ганс прочёл нам сказку «о человеке, сроду не знавшем ни нужды, ни горя», а оказалось, что у молодца и рубашки-то на теле не было! Поневоле размякнешь душой, как послушаешь такую историю, да ещё прямо из книжки! Правда знать, у всякого свой крест; никто не избавлен от этого! Всё-таки утешение!

– Откуда у вас эта книга? – спросил учитель.

– А её прошлый год подарили Гансу на ёлке! Господа подарили. Они знают, что он охотник читать, да и «сидень» вдобавок! Мы-то было жалели тогда, что они не подарили ему лучше на пару рубах! Но книжка-то оказалась дельною: она словно отвечает тебе на все твои мысли!

Учитель взял книжку и раскрыл её.

– Ну-ка, пусть он прочтёт нам эту историю ещё разок! – попросил Оле. – Я не запомнил её, как следует. А потом пусть прочтёт и другую – о дровосеке! – Эти две сказки вполне удовлетворяли Оле; они как будто освещали солнышком всё жильё и разгоняли тяжёлые, мрачные думы, одолевавшие бедняков. А сам-то Ганс успел прочесть и перечесть свою книжку не раз; сказки уносили его в недоступный ему мир, – ноги, ведь, не носили бедняжку.

Школьный учитель присел у постели и побеседовал с мальчиком. Беседа эта обоим доставила большое удовольствие, и с того дня учитель часто стал заходить к Гансу, когда родители были на работе. Для мальчика же каждое посещение учителя было настоящим праздником. Как внимательно слушал он рассказы старика о величине земли, о разных странах, о том, что солнце почти в полмиллиона раз больше земли и находится так далеко от неё, что пущенное с солнца пушечное ядро долетело бы до земли только через двадцать пять лет, тогда как луч света достигает до неё всего в восемь минут.

Всё это известно в наше время каждому прилежному школьнику, но для Ганса всё это было новостью куда более чудесною, нежели все сказки в его книжке.

Раза два в году школьного учителя приглашали отобедать в замке, и вот, однажды он воспользовался случаем – рассказал господам, какое значение приобрела для бедняков та книжка, которую они подарили мальчику, какое благодетельное отрезвляющее влияние имели на бедняков какие-нибудь две сказки! Хилый, но умный мальчик вливал своим чтением мир и отраду в сердца родителей и заставлял работать их мысли.

Когда учитель стал прощаться, госпожа вручила ему пару серебряных далеров для маленького Ганса.

– Пусть их возьмут отец с матерью! – сказал Ганс, когда учитель принёс ему деньги. А те сказали:

– Сидень-то наш тоже оказывается нам на радость и на пользу!

Дня два спустя, днём, когда родители Ганса были на работе, перед жилищем их остановилась господская карета. Это пожаловала навестить «сидня» сама добрая госпожа; она была так рада, что её рождественский подарок доставил столько утехи и удовольствия и родителям, и мальчику! На этот раз она привезла ему белого хлеба, фруктов, бутылку сладкого сока и – что всего больше обрадовало бедняжку – вызолоченную клетку с маленькою чёрненькою птичкой. Как она мило насвистывала! Клетку с птичкой поставили на высокий деревянный сундук, неподалёку от постели мальчика, чтобы он постоянно мог любоваться на птичку. Пение же её слышно было даже на улице.

Оле и Кирстина вернулись домой уже после отъезда госпожи. Они хоть и видели, как рад был птичке мальчик, всё-таки отнеслись к подарку, как к лишней обузе в доме.

– Много они рассуждают, эти баре! – сказали они. – Вот у нас теперь ещё новая забота – ходить за птицей! Сам-то сидень, ведь, не может! Ну, и кончится тем, что кошка съест её!

Прошла неделя, прошла другая; кошка за это время много раз побывала в горнице, не выказывая поползновения даже испугать птичку, не то что съесть. Но вот, случилось удивительное событие. Дело было после обеда, родители и все дети были на работе; дома оставался один Ганс. Он сидел на постели и

перечитывал сказку о жене рыбака, все желания которой исполнялись сейчас же. Захотела стать королём и стала, захотела стать императором – тоже, но когда захотела стать самим Богом – очутилась опять в грязи, откуда только что выбралась.

История эта не имела ни малейшего отношения ни к птице, ни к кошке; «сидень» только читал её, когда произошло замечательное событие, и навсегда запомнил это обстоятельство.

Клетка помещалась на сундуке; кошка стояла на полу и пристально глядела на птицу своими жёлто-зелёными глазами. Взгляд её как будто говорил птичке: «Как ты мила! Так бы и съела тебя!»

Ганс прочёл это во взгляде кошки и закричал: «Брысь! Вон из комнаты!» А кошка как будто готовилась к прыжку.

Ганс не мог достать до неё, и под руками у него не было ничего, кроме драгоценнейшего его сокровища – книжки со сказками. Но он всё-таки бросил её в кошку; корочки переплёта оторвались и полетели в одну сторону, а книжка в другую. Кошка же только слегка отодвинулась и посмотрела на Ганса, словно говоря: «И не суйся лучше, милый мой! Я-то могу и бегать и прыгать, а ты вот нет!»

Ганс следил за каждым движением кошки и весь трепетал от волнения. Птичка тоже заметалась в клетке. Позвать было некого, и кошка точно знала это. Вот, она опять стала готовиться к прыжку. Ганс принялся махать на неё своим одеялом, – руками-то он мог действовать – но кошка не обращала на одеяло никакого внимания. Наконец, Ганс даже запустил в неё одеялом, но без всякой пользы; кошка вскочила на стул, а потом на подоконник, откуда было ближе добраться до птички.

Вся кровь прихлынула к сердцу Ганса, но он о том и не думал, он думал только о кошке и птичке. Что же, однако, мог он сделать? Как ему сойти с постели? Он не мог даже встать на ноги, не то что двигаться!.. Сердце мальчика как будто перевернулось в груди, когда он увидел, что кошка вдруг прыгнула с окна прямо на сундук и опрокинула клетку на бок. Птичка отчаянно забилась. Ганс вскрикнул, по телу его пробежал судорожный трепет, и он, не помня себя, спрыгнул с постели,

кинулся к сундуку, крепко схватил клетку с перепуганной птичкой и выбежал на улицу. Тут у него брызнули из глаз слёзы, и он громко возликовал: «Я могу ходить! Я могу ходить!»

Он вдруг выздоровел; это случается, случилось и с ним.

Учитель жил рядом, Ганс и кинулся к нему как был – босоножкой, в одной рубашонке да курточке, с клеткой в руках.

– Я могу ходить! – кричал он. – Господи Боже мой! – И он зарыдал от радости.

Да, вот была в тот день радость в доме Оле и Кирстины!

– Счастливее этого дня нам уж не дождаться! – сказали они оба.

Ганса позвали к господам; много лет уже не ходил он по этой дороге, и теперь ему казалось, что и деревья-то все и кусты, которые он так хорошо знал, кивали ему ветвями и говорили: «Здорово, Ганс! Добро пожаловать!» Солнышко так и играло у него на лице и в сердечке!

Добрые молодые господа усадили Ганса и так радовались его выздоровлению, словно он был им родной. Особенно радовалась сама госпожа: это она, ведь, подарила ему и книжку со сказками, и птичку. Птичка, правда, околела от испуга, но всё-таки была виновницей выздоровления Ганса, а книжка тоже сослужила немалую службу: развлекала и утешала и мальчика, и его родителей. Он и не хотел расставаться с нею никогда, хотел беречь и постоянно перечитывать её до какой бы глубокой старости ни дожил! Теперь он уже мог быть в помощь своим родителям и собирался научиться какому-нибудь ремеслу – лучше всего переплётному: тогда ему можно будет читать все новые книги!

Но после обеда госпожа призвала к себе родителей Ганса, – она уже поговорила о мальчике с мужем, Ганс был мальчик прилежный, набожный и способный к ученью, ну, и Господь не оставит его!

В этот вечер родители Ганса вернулись домой как нельзя более довольные, особенно Кирстина, но через неделю она заливалась горькими слезами, снаряжая своего Ганса в путь. Правда его одели в хорошее платье, и сам он был мальчик хороший, но теперь его приходилось отправить за море, далеко-далеко! Он поступит в гимназию, и пройдут долгие годы, прежде чем родители опять свидятся с ним!

Книжку со сказками ему не дали с собою; родители хотели сохранить её на память. И отец частенько перечитывал всё те же две сказки, – их-то он знал!

И вот, от Ганса стали приходиться письма, одно другого радостнее. Он жил у хороших людей, в хорошей обстановке, а лучше всего было то, что он мог посещать школу! Многому мог он там научиться! Теперь у него было только одно желание: дожить до ста лет и потом когда-нибудь сделаться школьным учителем!

– Дожить бы нам до этого! – толковали родители, пожимая друг другу руки, словно шли к причастию.

– Да, вот что случилось с Гансом! – сказал Оле. – Господь, значит, печётся и о детях бедняков! На нашем-то сидне это как раз и сказалось. А, право, всё-таки это смахивает на сказку! Так вот и кажется, что сидень только прочёл нам обо всём этом из своей книжки со сказками!

---

<sup>[1]</sup>Из псалма епископа Томаса Кинго (1634–1703).

(Голосов: 1. Рейтинг: 5,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ключ от ворот

У каждого ключа своя история, и самых-то ключей много: есть камергерские ключи, есть часовые, есть ключи св. Петра и много других. Мы могли бы рассказать кое-что обо всех, но теперь расскажем только о ключе надворного советника.

Ключ этот делал слесарь, но самому-то ключу могло показаться, что его ковал кузнец – так тот неистово колотил и пилил его.

Ключ был чересчур велик для брючных карманов; приходилось носить его в сюртучном. Тут он частенько полеживал в потёмках; обычное же место его было на стене, рядом с силуэтом, изображавшим советника в детском возрасте; лицо советника напоминало на нём сдобную лепешку, окружённую курчавыми волосами.

Говорят, что в характере и манерах всякого человека есть нечто, напоминающее о созвездии, под которым он родился, например – о созвездии «Быка», «Девы», «Скорпиона». Но советница не ссылалась ни на одно из созвездий поименованных в календаре, а говорила, что муж её родился под созвездием «Тачки», – его вечно надо было подталкивать. Отец толкнул его на службу, мать толкнула жениться, а жена дотолкала до чина надворного советника, о чём, впрочем, никогда не проговаривалась. Она была рассудительная, честная женщина, умела и помолчать кстати и толкнуть вовремя.

Советник был господином плотным и довольно полным – «в пропорцию», как выражался сам. Был он также человеком начитанным, добродушным и к тому же отличался «ключевой мудростью». Смысл последнего выражения поймём потом. Он всегда был в духе, любил всех людей, охотно болтал со всеми, и уж если бывало уйдёт из дому, да ещё без жены, которая вечно подталкивала его, то залучить его опять домой было мудрено. Ему надо было поговорить с каждым встречным знакомым, а знакомых у него была пропасть, так время-то и уходило, а дома всё ждали, да ждали хозяина обедать.

Советница караулила мужа у окна. «Ну, идёт!» говорила она кухарке. «Подогрей суп!.. Ах, нет, отставь, – переварится! Советник остановился и говорит с кем-то!.. Ну, вот теперь идёт! Подогревай!»

Но советник и не думал приходить.

Он был способен дойти до самых ворот своего дома, кивнуть жене головою и – застрять на самом пороге, если завидит на улице знакомого. Как не перекинуться словечком, другим! А случись ему в то же время завидеть ещё знакомого, он брал за пуговицу пальто первого, протягивал руку второму и уже окликал проходящего мимо третьего.

Вот был настоящий искус для советницы!

«Советник! Советник!» кричала она. «Нет, этот человек положительно рождён под созвездием „Тачки“: сам сдвинуться с места не может, всё надо его подталкивать!»

Советник очень любил также заходить в книжные лавки и рыться в книгах и журналах. Он даже платил своему знакомому книгопродавцу небольшую сумму за право пробегать все новые книги, разрезая их только вдоль, а не поперёк, – иначе бы их уж нельзя было продать за новые. Вообще же советник был, не в обиду ему будь сказано – «ходячей газетой»: он знал обо всех помолвках, свадьбах и похоронах, о всяких сплетнях и устных, и печатных, и даже иногда таинственно намекал на что-то такое, о чём не знал никто, кроме его самого. Подобные секретные сведения он получал от своего ключа.

Советник и советница с самой женитьбы своей жили в собственном доме, и за всё это время у них был всё один и тот же ключ от ворот, но сначала-то никто и не подозревал о чудных свойствах ключа; они обнаружились гораздо позже.

Было это в царствование короля Фредерика VI. Копенгаген в то время не имел ещё газового освещения, а только ворванное; не было тогда и Тиволи<sup>[1]</sup>, не было и Казино<sup>[2]</sup>, ни дилижансов, ни конно-железных дорог. Сравнительно с настоящим по части развлечений было тогда бедно. По воскресеньям обывателям столицы предоставлялось на выбор: или предпринять прогулку за город на кладбище, почитать там надгробные надписи, потом усесться на травку, распаковать корзинку со съестными припасами, выпить да закусить, или же отправиться в Фредериксбергский сад, где на площадке перед дворцом играла полковая музыка, а в аллеях толпился народ, смотревший, как королевская фамилия катается в лодке по узким каналам. Старый король сам правил рулём, рядом с ним сидела королева, и оба приветливо отвечали на поклоны всех подданных, не разбирая сословий и чинов. В Фредериксберг стекались по преимуществу люди посостоятельнее и распивали тут чай. Кипяток можно было достать в крестьянском домике, что стоял в поле против сада, но чайники и самовары приходилось иметь свои.

В один прекрасный воскресный день советник с советницей и отправились после обеда в Фредериксберский сад; служанка шла впереди с самоваром и корзиною со съестным и водочкою.

– Захвати с собой ключ от ворот! – сказала советница. – Не то нам трудно будет попасть в дом, если мы запоздаем. Ты знаешь, ворота запираются, как только стемнеет, а проволока колокольчика вчера оборвалась!.. А, ведь, мы непременно запоздаем! Из Фредериксберга мы пойдём в театр смотреть пантомиму «Арлекин – старшина молотильщиков». Там люди спускаются на землю на облаке! И вход стоит всего две марки с персоны!

И вот, они отправились в Фредериксберг, слушали там музыку, любовались королевскими лодками, изукрашенными флагами, видели старого короля и белых лебедей. Напившись чаю и закусив, они заторопились в театр, но всё-таки опоздали к началу представления.

Хождение по канату и пляска на ходулях уже кончились, и началась пантомима. Советник с советницей опоздали как и всегда, и, разумеется, по вине советника: ему поминутно надо было останавливаться и болтать со знакомыми! Он и в театре встретил добрых друзей, и когда представление окончилось, ему с женой пришлось принять настойчивое приглашение одного знакомого семейства, жившего неподалеку от театра. Приглашали их только на стаканчик пунша, что могло задержать их разве минут на десять. Но, конечно, эти минуты растянулись за разговорами в целый час. Особенно заинтересовал всех один барон – шведский ли, немецкий ли, советник не запомнил, но зато навсегда сохранил в памяти то, чему научил его барон, проделывавший разные фокусы с ключом. Это было необыкновенно занимательно! Барон мог заставить ключ отвечать на все вопросы, которые ему задавали, каких бы секретных предметов они не касались. Особенно пригодным оказался для этих фокусов советников ключ от ворот, – у него была тяжёлая бородка. Барон надевал кольцо ключа на указательный палец правой руки, а бородка висела свободно; малейшее биение пульса могло привести её в движение, и она повёртывалась; если же нет, то барон умел незаметно заставить её повернуться, куда ему хотелось. Каждый

поворот бородки означал какую-нибудь букву азбуки; когда называли, наконец, настоящую букву, бородка поворачивалась в обратную сторону. После того начинали отгадывать следующую букву, и так выходили целые слова, а затем и целые предложения – ответы на вопросы. Конечно, всё это был один обман, но очень забавный. Так сначала отнёсся к делу и сам советник, но потом переменял мнение и совсем увлёкся проделками ключа.

– Муж, а муж! – крикнула вдруг советница. – Западные ворота запираются, ведь, в двенадцать часов! Мы не попадём в город, остаётся всего четверть часа! Пришлось спешить; по дороге их то и дело обгоняли пешеходы, тоже торопившиеся попасть в город вовремя. Наконец, они добрались до крайней сторожевой будки, но в ту же минуту пробило двенадцать, и ворота захлопнулись! Целая толпа людей осталась по сю сторону ворот; между ними и советник с советницей и служанкой, которая тащила самовар и пустую корзину. Некоторые опешили, другие рассердились; каждый отнёсся к делу по-своему. Что же, однако было делать?

К счастью, в последнее время было отдано распоряжение оставлять незапертыми на всю ночь одни из городских ворот – «Северные»; через них-то пешеходы и могли пробраться в город.

Не близко было до Северных ворот, но погода стояла хорошая, ясное небо было усеяно звёздами, то и дело скатывались падающие звёздочки, в канавах и прудах квакали лягушки, и путники тоже мало-помалу распелись. Но советник не пел и не смотрел не только на звёзды, но и себе под ноги, ну, и растянулся во весь рост на краю канавы! Можно было подумать, что он выпил лишнее, но дело было вовсе не в пунше, а в ключе, который не переставал вертеться у него в голове.

Наконец, добрались и до будки у Северных ворот, перешли мост и вошли в город.

– Ну, вот теперь отлегло от сердца! – сказала советница. – Вот и наши ворота!

– Да; только где же ключ от них? – спросил советник.

Ключа не оказывалось ни в заднем кармане, ни в боковых.

– Ах, Господи Боже мой! – сказала советница. – Так у тебя нет ключа? Верно, ты потерял его там с этими баронскими фокусами! Как же мы попадём теперь домой? Проволока колокольчика

оборвана, у сторожа другого ключа нет, – просто беда! Служанка принялась хныкать; один советник сохранил присутствие духа.

– Надо выбить стекло в подвале у мелочного торговца! – сказал он. – Пусть он отворит нам ворота!

И он выбил одно стекло, потом другое, просунул туда ручку зонтика и закричал: «Петерсен!» Изнутри послышался крик дочери мелочного торговца. Сам торговец распахнул двери лавки и закричал: «Караул!» И прежде, чем лавочник успел хорошенько рассмотреть и признать хозяев, да впустить их во двор, сторож уже дал свисток, ему откликнулся другой из соседней улицы, из окон начали выглядывать люди, посыпались вопросы: «Где пожар? Где скандал?» и продолжались ещё, когда советник давно уже был у себя дома, снял сюртук и... нашёл в нём ключ от ворот. Ключ лежал не в кармане, а между материей и подкладкой, – в кармане была дыра, хотя ей вовсе и не полагалось быть там.

С того вечера ключ от ворот стал предметом особого внимания, и не только, когда советник с советницей уходили по вечерам прогуляться, но и когда сидели дома, – советник показывал своё искусство, заставляя ключ отвечать на разные вопросы.

Он заранее придумывал наиболее подходящий ответ и затем заставлял ключ давать его, но под конец как-то и сам уверовал в способности ключа. А вот аптекарь, молодой человек и близкий родственник советницы, так ничему не верил.

Умный человек был этот аптекарь и с критической жилкой. Он ещё на школьной скамье зарабатывал деньги рецензиями книг и театральных представлений, причём никогда не подписывал своих статей, – так выходит внушительнее. В нём, как говорится, преобладал эстетический дух, но сам он ни в каких духов, особенно в духов, обитающих в ключах, не верил.

– Впрочем, нет, я верю! – говорил он. – Верю, добрейший господин советник! Верю в ключ от ворот и во всех духов ключей так же твёрдо, как и в новейшую науку, что открыла духов в старой и новой мебели и занимается столоверчением! Вы слышали о ней? Я слышал! Я сомневался было, – вы, ведь, знаете, я из числа скептиков – но теперь стал прозелитом<sup>[3]</sup> новой веры,

прочитав в одной достойной доверия заграничной газете ужасную историю. Я, впрочем, за что купил её, за то и продаю! Представьте же себе, советник! Двое умных детей видели, как родители их вызывали духов из большого обеденного стола. Детишки остались одни и захотели в свою очередь попробовать пробудить жизнь в старом комод. Жизнь-то они в нём пробудили, духи проснулись, но не захотели слушаться ребячьей команды, поднялись – комод затрещал, выдвинул ящики и уложил в них своими ножками обоих ребят, затем выбежал в открытую дверь, спустился по лестнице на улицу, прямо к каналу, да и утопился там вместе с детьми. Тела детей предали христианскому погребению, а комод отправили в ратушу и присудили за убийство детей к сожжению живьём на костре. Вот что я вычитал в иностранной газете и передаю вам, ничего не прибавляя от себя! Ключ меня побери, если я выдумываю! Видите, я даже поклялся!

Но советник нашёл, что это было со стороны аптекаря уж чересчур грубой шуткой. Не стоило и говорить с ним о ключе: аптекарь был глуп, как самый последний ключ!

Сам же советник всё более и более изощрялся в «ключевой мудрости». Ключ и забавлял его, и поучал.

Однажды вечером советник уже собирался лечь в постель и стоял в спальне полураздетый, как вдруг в дверь из коридора постучали. Поздним гостем оказался лавочник, тоже полураздетый. И он было совсем уж собрался спать, да вдруг ему пришла в голову мысль, и он побоялся забыть её за ночь!

– Дело-то идёт о дочке моей Лотте-Лене. Она девушка красивая, конфирмована, и мне хотелось бы теперь пристроить её получше!

– Да, ведь, я ещё не вдовец! – усмехнулся советник. – И сына у меня нет, за которого бы я мог посватать её!

– Ну, вы поймёте в чём дело, господин советник! – сказал лавочник. – Она играет на фортепьяно, умеет петь, – небось слышно по всему дому! Но вы ещё не знаете всего, на что эта девочка способна. Она умеет подражать разговору и походке всякого! Она просто создана для театра, а это хорошая дорога для красивых молодых девушек из порядочных семейств! Им удаётся иной раз подхватить в мужья графов! Ну, да об этом-то пока ни я, ни Лотта-Лена не думаем! Так вот, она умеет петь,

играть на фортепьяно, и на днях я пошёл с нею в школу пения. Она спела, но оказалось, что у неё нет ни такого пивного баса, ни канареечного визга, которые нынче требуются от певиц. Ну, ей и отсоветовали идти в певицы. «Что ж», подумал я, «коли не в певицы, так в актрисы! Для этого нужно только уметь говорить». И сегодня я завёл об этом речь с «инструктором», как он там у них называется. «А она начитана?» спрашивает он. «Нет!» говорю: «совсем нет!» «Ну, а это необходимо для актрисы!» «Что ж, начитанность-то она ещё приобрести может!» подумал я и пошёл себе домой. «Пусть Лотта-Лена запишется в библиотеку и перечитает всё, что там есть!» Но вот, сижу это я сейчас, раздеваюсь и вдруг мне пришло на ум: зачем же платить за чтение, коли можно иметь его даром! У советника пропасть книг, пусть он даст их Лотте-Лене почитать – вот тратиться-то и не придётся!

– Лотта-Лена славная девушка! – сказал советник. – Красивая девушка. – Книги я ей дам! Но есть ли у неё, что называется – огонёк, талант? Да, и кроме того, везёт ли ей вообще? Счастье, ведь, тоже вещь очень важная!

– Она два раза выигрывала в лотерею! – ответил лавочник. – Один раз выиграла шкаф для платья, а другой – полдюжины простынь. Разве это не счастье?

– А вот я сейчас спрошу насчёт этого ключ! – сказал советник. И он надел кольцо ключа на указательный палец правой руки себе и лавочнику и заставил ключ вертеться и указывать букву за буквой.

И ключ ответил: «Победа и счастье!» Таким образом будущее Лотты-Лены было определено.

Советник сейчас же вручил лавочнику две книги: трагедию «Дювеке» и «Обхождение с людьми» – Книжке. Пусть Лотта-Лена читает!

С этого вечера между Лоттой-Леной и семейством советника завязалось более близкое знакомство. Она стала бывать у них, и советник нашёл её девушкой очень разумной, – она верила и в него, и в ключ. И советнице она тоже понравилась. Непринужденность и откровенность, с которыми девушка на каждом шагу сознавалась в своём невежестве, казались советнице чем-то

детским, невинным. Словом, оба супруга, каждый по-своему, питали симпатию к Лотте-Лене, а она к ним.

– Как у них чудесно пахнет! – говорила она.

В самом деле, в коридоре у них пахло яблоками, – советница заготовила на зиму целую бочку – а по всем комнатам распространялось благоухание роз и лаванд.

– У них всё на благородную ногу! – говорила Лотта-Лена, любясь прекрасными комнатными цветами советницы. У той даже зимою цвели в комнатах ветви сирени и вишень. Она ставила срезанные оголённые веточки в воду, и они в тепле скоро одевались листьями, а потом покрывались и цветами.

– Вот, можно было подумать, что жизнь совсем покинула эти голые ветви, а поглядите-ка, как они воскресли! – говорила советница.

– Мне никогда ничего такого и в голову не приходило! – отзывалась Лотта-Лена. – Какая, однако, эта природа милая!

Советник же показывал ей свою «ключевую книгу», куда были занесены разные замечательные ответы и разоблачения ключа, например – относительно пропажи из шкафа половинки яблочного пирожного, как раз в тот вечер, когда у кухарки был в гостях её друг.

Советник спросил ключ: «Кто съел пирожное – кошка или друг?» И ключ ответил: «Друг!» Советник, впрочем, знал это заранее, да и служанка поспешила сознаться: ещё бы! этот проклятый ключ знал решительно всё!

– Ну, не замечательно ли это? – спрашивал советник. – Вот это так ключ! А на вопрос о судьбе Лотты-Лены он ответил: «Победа и счастье»! Ну, вот и посмотрим! Я-то уж ручаюсь за него!

– Как всё это мило! – говорила Лотта-Лена.

Сама советница не была так доверчива, но не выражала своих сомнений при муже, а только после как-то призналась Лотте-Лене, что муж её молодым человеком сам без ума был от театра. Толкни его тогда кто-нибудь на сцену, он бы наверно сделался актёром, но родители, напротив, оттолкнули его от этого. Но он всё-таки желал как-нибудь пробраться на сцену и даже написал ради этого комедию.

– Я доверяю вам большую тайну, милочка! – говорила советница.

– Комедия была недурна, её приняли на королевскую сцену и – освистали! С тех пор о ней не было и слуха, чему я очень рада. Я, ведь, жена его и хорошо его знаю! Теперь и вы хотите пойти по той же дороге – желаю вам всего хорошего, но сомневаюсь в успехе! Не верю я в ключ!

А Лотта-Лена верила и вполне сходилась в этом случае с советником. Вообще сердца их отлично понимали друг друга, но в пределах честных и благородных отношений.

Девушка в самом деле отличалась многими достоинствами, которых не могла не ценить и сама советница. Лотта-Лена умела делать крахмал из картофеля, перешивать старые шёлковые чулки на перчатки и обтягивать заново свои шёлковые бальные башмачки, даром что у неё хватало средств одеваться во всё новое. У неё, ведь, были, как выражался мелочной торговец, «и монетки в шкатулке и облигации в денежном ящике». Словом, она бы как раз годилась в жёны аптекарю, думалось советнице, но она ни сама не заговаривала об этом, ни к ключу не прибегала. Аптекарь должен был в скором времени обзавестись собственной аптечкой в одном из ближайших больших провинциальных городов.

Лотта-Лена всё ещё читала «Дювеке» и «Обхождение с людьми». Она держала у себя эти книги два года, но зато и выучила наизусть одну – «Дювеке», выучила все роли, а сама-то собиралась выступить лишь в одной, именно в роли Дювеке, но выступить не в столице, где всегда столько недоброжелателей и где её знать не хотели. Лотта-Лена решила начать свою «артистическую карьеру» – как выражался советник – в провинции.

И вот, случилось так, что ей пришлось дебютировать в том самом городе, где устроился молодой аптекарь в качестве если не единственного, то самого младшего аптекаря.

Наконец, настал тот великий, долгожданный вечер, в который Лотта-Лена должна была, по предсказанию ключа, завоевать себе победу и счастье. Советник не мог присутствовать на представлении, – он лежал в постели, и советница угощала его горячими припарками и липовым чаем – припарками на желудок, а чаем в желудок.

Итак, супруги не были на первом дебюте Лотты-Лены, но аптекарь

был и написал о нём своей родственнице советнице.

«Лучше всего был воротник на Дювеке», писал он. «Будь у меня в кармане советников ключ, я бы вытащил его и свистнул: этого заслуживала и Лотта-Лена, и сам ключ, бесстыдно напрогносивший ей «победу и счастье!»»

Советник прочёл письмо и объявил, что всё это одно недоброжелательство, «ключененависть», которая отозвалась и на ни в чём неповинной девушке.

И как только он поправился, сейчас же написал аптекарю небольшое, но ядовитое письмецо. Тот в свою очередь ответил, но так, как будто принял письмо советника за самую безобидную и весёлую шутку: благодарил советника за настоящее, равно как и за всякое будущее разъяснение неподражаемого значения и важности ключа, и признавался, что и сам в свободное от занятий время пишет большой роман о ключах. Все действующие лица в нём – ключи; главным же являлся ключ от ворот. Образцом для него послужил советников ключ, как одарённый даром прозорливости и пророчества. Все остальные ключи вертелись около этого ключа: и старый камергерский ключ, который знавал лучшие времена и рассказывал о придворном блеске и празднествах, и часовой ключик, такой изящный и важный, стоящий у часовых дел мастера четыре скиллинга, и ключ от церковных дверей, который, оставшись однажды на ночь в замочной скважине, видел духов, и ключ от кладовой, и ключ от дровяного сарая, и от винного погреба. Все они низко склонялись перед ключом от ворот, все вертелись около него. Солнечные лучи серебрили его, «всемирный дух» ветер забирался в него и свистел. Словом, этот ключ всем ключам был ключ: сначала-то он был только ключом от ворот советника, а затем стал ключом от ворот рая, ключом-папою, – он, ведь, непогрешим!

– Сколько злобы! – сказал советник. – Чудовищной злобы!

Зато он больше и не виделся с аптекарем – до самых похорон советницы.

Она умерла первая.

В доме была печаль и горе. Даже срезанные веточки вишнёвых деревьев, пустившие было свежие побеги и покрывшиеся цветами,

и те до того опечалились, что завяли; о них позабыли; хозяйка не могла уже ухаживать за ними.

Советник и аптекарь шли за гробом рядом, как близкие родственники; тут было не время и не место сводить счёты.

Лотта-Лена обвязала шляпу советника чёрным крэпом. Она уже давно вернулась домой, не завоевав себе ни победы, ни счастья. Но она ещё могла завоевать их, – всё будущее её было ещё впереди, а недаром же ключ предсказал ей «победу и счастье» да и советник подтвердил.

Она стала навещать его. Они беседовали об умершей и плакали вместе, – сердце у Лотты было мягкое. Говорили они также и о театре, но тогда Лотта-Лена становилась твёрдою.

– Жизнь актрисы прелестна! – говорила она. – Но сколько там вздора и зависти! Нет, я лучше пойду своею дорогою! Сначала я сама, а потом уж искусство!

Она убедилась, что Книгге прав в своих суждениях об актёрах, а ключ попросту наврал ей, но не проговаривалась об этом советнику, – она любила его.

Ключ был, ведь, истинным его утешением в дни скорби. Советник задавал ему вопросы, а он отвечал. И вот, через год, сидя вечером рядом с Лоттой-Леной, советник спросил ключ: «Женюсь ли я и на ком?»

На этот раз никто не подталкивал его, он сам подталкивал ключ, и этот ответил: «На Лотте-Лене!»

И Лотта-Лена сделалась советницею.

«Победа и счастье!» Недаром же это было ей предсказано, и предсказано – ключом.

---

<sup>[1]</sup> Один из увеселительных садов, наиболее любимый и посещаемый копенгагенцами.

<sup>[2]</sup> Один из частных театров Копенгагена.

<sup>[3]</sup> Прозелит – перен., новый и горячий приверженец чего-либо.

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. О чём рассказывала старая Йоханна

Ветер шумит в ветвях старой ивы.

Сдаётся, что внемлешь песне; поёт её ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Йоханну из богадельни; она всё знает, она, ведь, родилась тут в окрестности.

Много лет тому назад, когда мимо ивы ещё проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в тёплые летние дни в нём полоскались голые деревенские ребятишки. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб; теперь он свалился и оброс побегами ежевики.

Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала просёлочною, пруд же превратился в подёрнутую зелёною плесенью лужу. Бухнется в неё лягушка – зелень разойдётся, и покажется грязная, чёрная вода. По краям её росли и растут осока, тростник и жёлтые лилии.

Домишко портного покосился от старости; крыша превратилась в рассадник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец, под крышей же налепили себе гнёзд ласточки, словно домик был приютом счастья.

Когда-то оно так и было; теперь же в нём тишина и запустение. Живёт в нём, или вернее прозябает, «дурачок Расмус», как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребёнком, прыгал

по полю и через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву.

Она и теперь ещё подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула её ствол, время проделало в нём трещину, ветер занёс в неё землю, и из неё сами собою выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка. Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить свои старые гнёзда; Расмус же махнул рукою на своё гнездо, никогда не чинил его. «К чему? Что толку?» вот такая была у него поговорка, унаследованная от отца.

И он оставался в своём гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять – верные птички! Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался, и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним взапуски; теперь он и свистать и петь разучился.

Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и посейчас; сдаётся, что внемлешь песне; поёт её ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Йоханну из богадельни; она всё знает, может порассказать о том, что было здесь в старину, она – живая хроника.

Дом был ещё нов и крепок, когда в него перебрались на житьё деревенский портной Ивар Эльсе с женою Марен, люди честные, работающие. Старуха Йоханна была в то время ещё девчонкою; отец её, выделявавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен, – у этой-то не было недостатка в провизии. Она пользовалась большою благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но, работая языком, не покладала и рук. Иголка в её руках двигалась так же быстро, как язычок во рту; кроме того, она смотрела и за хозяйством, и за детьми, а их была без малого дюжина – целых одиннадцать; двенадцатый так и не явился.

– У бедняков вечно полно гнездо птенцов! – ворчал помещик. – Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче, так беды-то было бы меньше!

– Спаси Боже! – говорила жена портного. – Дети – благословение Божие, радость в доме! За каждого лишнего ребёнка прочтёшь лишний раз «Отче Наш» – вот и всё! А если и туго приходится и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу и выйдешь из беды честь-честью! Господь не забудет нас, коли мы Его не забываем!

Помещица одобряла Марен, ласково кивала ей головой и часто трепала её по щеке. А было время, что она даже целовала Марен, но это тогда ещё, когда сама была маленькою девочкой, а Марен – её нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались.

Каждый год, к Рождеству, в доме портного появлялся запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Всё это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев: «Что толку?»

В домике портного было чисто, уютно; на окнах занавески, на подоконниках цветы: гвоздики да бальзамины. На стене, в рамке, висела азбука, вышитая Марен, а рядом стихотворение, тоже её собственной работы; она умела подбирать рифмы и почти гордилась тем, что её фамилия Эльсе (Ölse) являлась единственным словом, рифмовавшим со словом Pölse (колбаса).

– Всё-таки преимущество перед другими! – говаривала она, смеясь.

Она всегда была в духе, никогда не говорила, как муж: «Что толку!» У неё была своя поговорка: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Так она и делала, и весь дом держался ею. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо. Самый меньшей из них, Расмус, ребёнком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев в городе даже взял его раз моделью, но нарисовал совсем голеньким, как мать родила! Картинка эта висела теперь в королевском дворце; помещица видела её и сейчас признала маленького Расмуса, даром что он был без платья.

Но вот настало тяжёлое время. Портной схватил ревматизм в обеих руках; руки распухли; ни один доктор не мог ничего

поделать, даже сама знахарка Стина.

– Не надо вешать носа! – сказала Марен. – В этом толку мало! Теперь у нас парюю здоровых рук меньше, так задам побольше дела моим! Да и Расмус умеет держать иглу в руках!

Он уже и в самом деле сидел на столе, насвистывал и шил; весёлый он был мальчик!

Но целыми днями ему не след было сидеть за работою – говорила мать – грешно так мучить ребёнка; надо было дать ему и побегать, и порезвиться!

Первою подругою Расмуса была Йоханна; она была ещё из более бедной семьи, чем Расмус, красотю не отличалась, ходила босиком и в лохмотьях, – некому было о ней заботиться, самой же зашить свои дырья ей в голову не приходило. Она была ещё ребёнок и весела, как птичка, порхающая на солнышке.

Чаще всего играли дети под большой ивой у каменного столба.

Расмус задавался великими замыслами; он мечтал сделаться важным портным и поселиться в городе, где живут такие мастера, что держат по десяти подмастерьев, – это он слышал от своего отца. Вот к такому-то мастеру Расмус и поступит в подмастерья, а потом сам станет мастером. Тогда Йоханна непременно должна прийти к нему в гости, а если к тому времени выучится стряпать, то может остаться у них и навсегда – готовить им кушанье, и тогда ей отведут свою комнату.

Йоханна не совсем-то этому верила, но Расмус был вполне уверен, что всё оно так и сбудется.

Так они сидели вместе под старым деревом, а ветер шумел в ветвях, словно пел песню, ива же пересказывала её.

Осенью все листья опали; с голых ветвей закапал дождь.

– Они снова зазеленеют на будущий год! – говорила матушка Эльсе.

– Что толку? – ответил муж. – Новый год – новые печали, новые заботы о куске хлеба!

– Кладовая наша полна! – возражала жена. – Спасибо доброй барыне! Я здорова, сил мне не занимать стать, – грех нам и жаловаться!

Рождество семья помещика проводила в имении, но через неделю после Нового года перебиралась обыкновенно в город, где весело

проводила зиму, посещая разные балы и собрания и бывая даже при дворе.

Госпожа выписала себе из Парижа два дорогих платья, из такой материи, такого покроя и такой работы, что Марен сроду не видывала ничего великолепнее. Она и выпросила у госпожи позволение прийти в замок ещё раз вместе с мужем, чтобы и он мог полюбоваться на платья.

– Ничего такого ни одному деревенскому портному, ведь, и во сне не снилось! – сказала она.

И вот, он увидел платья, но не сказал ни слова, пока не вернулся к себе домой, да и тут сказал лишь то, что говорил всегда: «Что толку?» И на этот раз слова его оказались вещими.

Господа переехали в город, начались балы и праздники, но тут-то как раз старый помещик и умер. Не пришлось молодой госпоже и пощеголять в своих великолепных платьях! Она была очень огорчена, оделась с ног до головы в траур, не позволяла себе надеть даже белого воротничка. Все слуги тоже были одеты в траур, а парадную карету обили тонким чёрным сукном.

Была ясная морозная ночь; звёзды сияли на небе, снег так и сверкал, когда к воротам усадебной церкви подъехала колесница с телом помещика; его привезли сюда из города, чтобы схоронить в фамильном склепе. Управляющий помещьем и деревенский староста, оба верхом, с факелами в руках, встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освещена, священник встретил гроб в дверях. Затем гроб внесли на возвышение перед алтарём, священник сказал приличное случаю слово, а присутствующие пропели псалом. Сама госпожа тоже находилась в церкви; она приехала в парадной траурной карете, обитой чёрным сукном и внутри, и снаружи; ничего такого деревенские жители сроду не видывали.

Всю зиму толковали они о печальной, но пышной церемонии. Да, вот это так были «господские похороны»!

– Сейчас видно, какой человек умер! – говорили они. Родился он знатным барином и схоронили его, как знатного барина!

– Что толку? – сказал опять портной. – Теперь у него ни жизни, ни имения! У нас хоть жизнь-то осталась!

– Да не говори же таких слов! – прервала его жена. – Он, ведь,

обрёл вечную жизнь в царствии небесном!

– А кто тебе это сказал? – возразил муж. – Мёртвое тело – хорошее удобрение для земли и только! А этот господин даже и удобрением-то послужить не может, – он слишком знатен для этого, будет себе гнить в склепе!

– Да оставь ты свои безбожные речи! – вскричала жена. – Говорю тебе: он обрёл вечную жизнь!

– А кто тебе сказал это, Марен? – повторил портной.

Но Марен набросила передник на голову маленького Расмуса, – ему не след было слушать такие речи – увела его в сарай и там принялась плакать.

– Это говорил, Расмус, не отец твой, а злой дух! Он забрался в дом и овладел языком твоего отца! Прочти: «Отче наш!» Прочтём вместе! – И она сложила ручки ребёнка. – Ну, теперь у меня отлегло от сердца! – сказала она. – Надейся на Бога и сам не плошай!

Год скорби подходил к концу, вдова ходила уже в полутрауре, а в сердце её печаль давно сменилась полною радостью.

Поговаривали, что к ней присватался жених, и она уже подумывает о свадьбе. Марен знала об этом кое-что, а священник и того больше.

В Вербное воскресенье, после проповеди, он должен был огласить предстоящее бракосочетание вдовы. Жених её был какой-то не то каменотёс, не то ваятель, – толковали в народе. Как называть его – никто хорошенько не знал; в те времена Торвальдсен и его искусство ещё не были знакомы народу.

Новый помещик был не из знатного рода, но вид у него был очень важный, и занимался он чем-то таким, о чём никто не имел настоящего понятия; знали только, что он имеет дело с глиной, да с камнем, что он большой мастер своего дела, и к тому же молод и красив.

– Что толку? – говорил, однако, Ивар Эльсе.

И вот, в Вербное воскресенье, после проповеди, состоялось оглашение; затем пропели псалмы и приступили к причащению. Портной, Марен и Расмус были в церкви; родители подошли к причастию, мальчик остался сидеть на своём месте, – он ещё не был конфирмован.

В последнее время в доме портного ощущался сильный недостаток в одежде; старые платья все износились, их уж вывертывали, перешивали и чинили не раз. В этот же день все трое: и муж, и жена, и сын были в новых платьях, но из чёрной траурной материи, словно собирались на похороны, – на платья им пошла траурная обивка кареты. Мужу вышел из неё сюртук и брюки, жене платье и Расмусу полный костюм, да ещё на рост, чтобы платье пригодилось и к конфирмации. На всё это, как сказано, пошла и внутренняя и наружная обивка траурной кареты. Никому собственно не было нужды добираться до первоначального употребления материи, но люди всё-таки живо добрались, и знахарка, «умная баба» Стина, да ещё несколько таких же умниц, которые, однако, не промышляли своим умом, объявили, что эти платья накличат на головы семьи несчастье: «Нельзя одеваться в обивку траурной кареты, – сам отправишься на кладбище!»

Йоханна заплакала, услышав такие речи, и так как случилось, что с того самого дня портному стало хуже, то скоро должно было выясниться, на чью именно голову падёт несчастье.

Наконец, оно и выяснилось.

В первое же воскресенье после Троицы портной Эльсе умер. Теперь Марен осталась одна, – как знаешь, так и справляйся! Она и справлялась: надеялась на Бога и сама не плошала!

Через год Расмус конфирмовался. Пришла пора отдать его в город в ученье к настоящему портному, хоть и не к такому, который держал двенадцать подмастерьев. Этот держал только одного, мальчика же Расмуса можно было считать разве за пол-подмастерья. Расмус был весел, рад тому, что отправляется в город, но Йоханна плакала; она любила его больше, чем сама подозревала. Мать Расмуса осталась в доме одна и продолжала заниматься своим ремеслом.

В это-то время и была открыта новая проезжая дорога, старая же, что шла мимо ивы и дома портного, стала просёлочною; пруд зарос, превратился в подёрнутую зелёною плесенью лужу; верстовой столб свалился, – ему незачем было больше стоять – но дерево стояло по-прежнему, всё такое же крепкое и красивое, и ветер по-прежнему шумел в его ветвях.

Ласточки улетели, улетел и скворец, но весной все они

вернулись опять, потом опять улетели и опять прилетели, когда же вернулись в четвёртый раз, вернулся домой и Расмус. Он стал подмастерьем и выровнялся в красивого, но худощавого и слабого здоровьем парня. Он хотел было немедля вскинуть котомку на плечи и пуститься в чужие страны, куда его давно тянуло, но мать стала его удерживать: дома дескать лучше! Все дети её разлетелись из гнезда, он был младшим, дом должен был достаться ему; работы же он и здесь мог достать вдоволь: пусть только сделается странствующим портным, переходит из дома в дом по всей окрестности, работая недели по две то тут, то там, – чем не путешествие? Расмус сдался.

И вот, он опять спал под родною кровлею, опять сидел под старую ивою и прислушивался к шуму ветвей.

Он был красив, свистал как птица, умел петь и новые и старинные песни и скоро стал желанным гостем во многих богатых крестьянских домах, особенно же в доме Клауса Гансена, чуть ли не первого богача в окрестности.

Дочка его, Эльза, цвела как роза; улыбка не сходила с её уст, и находились таки злые люди, поговаривавшие, что она смеется только для того, чтобы показывать свои хорошенькие зубки. Что ж, такая уж она была хохотунья, вечно готова дурачиться, шутить! К ней всё шло.

Она полюбила Расмуса, а он полюбил её, но ни он, ни она не обмолвились о том друг другу ни словом.

И вот, он стал задумываться и грустить; в его характере было больше отцовского, нежели материнского. Весел он был только в присутствии Эльзы; тогда они оба смеялись и шалили напропалую, но хотя и не раз при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не признался Эльзе в своей любви. «Что толку?» думал он. «Родители ищут ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Так лучше бежать от неё!» Но на это у него не хватало сил; Эльза как будто держала его на привязи и могла заставить его петь и свистеть, словно ручную птицу.

Йоханна служила у Клауса Гансена в работницах; на ней лежала разная чёрная работа по дому; она возила на поле молочную бочку и доила там вместе с другими работницами коров, возила туда и навоз, когда надо было. Она не бывала в хозяйских

горницах и нечасто видала Расмуса или Эльзу, но слышала от других, что они чуть ли не жених и невеста.

«Расмус идёт в гору!» думала она. «И дай ему Бог!» Но глаза её при этом наполнялись слезами, хотя, казалось бы, о чём тут плакать?

В городе была ярмарка; Клаус Гансен отправился туда с дочерью, а с ними и Расмус. Он сидел рядом с Эльзой всю дорогу и туда и обратно. Сердце его было переполнено любовью, но он не сказал о том Эльзе ни слова.

«Должен же он, однако, объясниться со мною!» думала девушка вполне резонно. «А не заговорит сам, так я расшевелю его!»

И скоро в доме стали поговаривать, что за Эльзу сватается богатейший крестьянин в окрестности. Так оно и было, но никто не знал, что ответила ему Эльза.

У Расмуса и голова кругом пошла.

Однажды вечером Эльза надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает.

– Обручение! – ответил тот.

– А с кем по-твоему? – спросила она.

– С тем богачом, что сватался за тебя!

– Угадал! – сказала она, кивнула головкой и скрылась.

Скрылся и он, пришёл домой к матери совсем вне себя и сейчас же принялся завязывать свою котомку: «В путь-дорогу! Куда глаза глядят!» Не помогли и слёзы матери.

Он вырезал себе палку из ветви старой ивы и так насвистывал при этом, словно у него и невесть как весело было на душе, – чего-чего, ведь, ни насмотрится он теперь на белом свете!

– Для меня-то это большое горе! – сказала мать. – Но для тебя, конечно, самое лучшее уехать, так и мне надо примириться с этим. Но надейся на Бога, да не плошай и сам, и – я увижу тебя опять молодцом!

Он пошёл по новой дороге и увидел издали Йоханну, которая везла на поле навоз. Она ещё не успела заметить его, а ему и не хотелось этого, и он присел за изгородью у канавы. Йоханна проехала мимо.

Расмус отправился бродить по белу свету, но где бродил – никому не было известно. Мать, впрочем, надеялась, что не

пройдёт и года, как он вернётся домой. «Теперь, ведь, он увидит столько нового, будет ему чем поразвлечься, ну, он мало-помалу и войдёт в старую колею. Да, в его характере больно много отцовского, лучше бы он был в меня, бедное дитячко! Но он всё-таки вернётся домой, – не может же он бросить и меня, и дом!»

И мать собиралась ждать год; Эльза прождала только месяц, а потом отправилась тайком к знахарке Стине; та и полечивала, и на картах и на кофейной гуще ворожила.

Она, конечно, сейчас же узнала, где находился Расмус – только в кофейную гущу поглядела. Он находился в чужом городе, но названия его она не могла прочесть. В городе том было много солдат и красивых девушек, и он собирался или стать под ружьё, или жениться на одной из девушек.

Тут Эльза не выдержала и заявила, что отдала бы всю свою копилку с деньгами, только бы вернуть Расмуса, но... никто не должен был знать об этом!

И старуха обещала вернуть Расмуса; она знала одно средство, правда очень опасное, так что прибегать к нему следовало только в крайних случаях. Надо было заварить кашу и поставить её на огонь: каша будет кипеть, и Расмусу – где бы он ни был – придётся вернуться, вернуться туда, где кипит каша и ждёт его возлюбленная. Пройдут, может быть, месяцы, прежде чем он вернётся, но вернуться он должен, если только жив. Он будет спешить домой без оглядки, без отдыха, день и ночь, через моря и горы, во всякую погоду, несмотря ни на какую усталость. Его будет неудержимо тянуть домой, и он вернётся домой!

Была первая четверть луны, а это-то как раз, по словам Стины, и требовалось для ворожбы. Погода стояла бурная, старая ива так и трещала. Стина отломала от неё веточку, связала её узлом, – узел этот должен был притянуть Расмуса – и бросила её в горшок. Затем знахарка набрала с крыши дома мху и дикого чесноку, положила в горшок и их, поставила горшок на огонь и велела Эльзе вырвать листок из молитвенника. Та случайно вырвала листок с опечатками. «Всё едино!» сказала Стина и бросила и его в кашу.

И много ещё всякой всячины пришлось бросить в кашу, которая

должна была кипеть, не переставая, пока Расмус не вернётся домой. Чёрному петуху старой Стины пришлось расстаться со своим красным гребешком, а Эльзе со своим толстым золотым кольцом. И оно пошло в кашу; Эльза так никогда и не получила его обратно; впрочем, Стина заранее предупредила её об этом. Страсть какая была умная эта Стина! Да, и не перечесть всех вещей, какие попали в кашу, которая не сходила с огня или с горячих угольев или с тёплой золы. Знали же о том только Стина, да Эльза.

Месяц нарождался и убывал, а Эльза всё навевалась к Стине с тем же вопросом: «Что, всё ещё не видать его?»

– Много знаю я! – отвечала Стина. – Много вижу, но сколько ещё остаётся ему идти – не вижу. Впрочем, он уже перешёл первые горы! Теперь он в море и терпит непогоду! Но долго ещё идти ему через дремучие леса! Ноги его покрылись волдырями, тело его треплет лихорадка, а он всё должен идти, идти без конца, без отдыха!

– Ах, нет, нет! – сказала Эльза. – Мне жалко его!

– Ну, уж теперь его нельзя остановить! А остановим – он упадёт мёртвым на дороге!

Прошёл год. Стояло полнолуние; ветер шумел в ветвях ивы; на небе, при свете месяца, показалась радуга.

– Вот это хороший знак! – сказала Стина. – Значит, Расмус скоро придёт!

Но он не приходил.

– Да, коли ждёшь, время тянется ой-ой как долго! – говорила Стина.

– Ну, а мне надоело ждать! – сказала Эльза, стала заходить к Стине всё реже и реже, и перестала приносить ей новые подарки. На душе у Эльзы становилось всё легче, и вот, в одно прекрасное утро все узнали, что Эльза согласилась выйти за богача-крестьянина.

Она отправилась взглянуть на его двор и земли, на скот, и прочее добро; всё оказалось в добром порядке, и свадьбы незачем было больше откладывать.

Отпраздновали её на славу; пиროванье шло целых три дня. Плясали под звуки скрипок и кларнетов. Никто из окрестных

жителей не был обойдён приглашением; была на свадьбе и матушка Эльсе, и когда веселье кончилось, дружки поблагодарили гостей за честь, а музыканты сыграли последний туш, она пошла домой с полною корзинкой остатков от свадебного угощения.

Дверь дома она припёрла снаружи, продев в колечки щепку, но, подходя к дому, она заметила, что щепка выдернута, и дверь стоит настежь. В горнице сидел Расмус! Он вернулся домой, вернулся в этот самый час. Но, Боже, на нём не было лица! Как он пожелтел, похудел, – одни кости, да кожа!

– Расмус! – вскричала мать. – Тебя ли я вижу! Жалость берёт, глядя на тебя! Но как же я рада, что ты вернулся!

И она угостила его вкусными кушаньями, которые принесла с пира: куском жаркого и свадебным пирожным.

А он сказал, что часто вспоминал в последнее время мать, свой дом и старую иву. Диво просто, как часто снилось ему это дерево и босоногая Йоханна!

Об Эльзе он и не упомянул. Он был болен и слёг в постель; мы-то не подумаем, что в болезни его и возвращении была виновата каша Стины, это думали только сама Стина, да Эльза, но и они молчали о том.

У Расмуса сделалась горячка; болезнь была заразительна, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Йоханны. Она горько плакала, глядя на больного.

Доктор прописывал ему лекарства, но он не хотел их принимать.

«Что толку!» – говорил он.

– Как что? Поправишься! – уговаривала его мать. – Надейся на Бога, да и сам не плошай! Я бы жизнь отдала, только бы мне увидеть тебя опять здоровым и весёлым, услышать твой свист и пение!

И Расмус избавился от болезни, но зато передал её матери, и Господь отозвал к себе её, а не его.

Пусто стало в доме; хозяйство пришло в упадок.

– Плох он! – говорили про него соседи. – Совсем дурачком стал! Бурную жизнь вёл он во время своих странствований, вот что высосало из него жизненные соки, а не каша! Волоса его поредели и поседели; к настоящему труду он был уже не годен. «Да и что толку?» говорил он и охотнее заглядывал в кабачок,

чем в церковь.

Однажды, ненастным осенним вечером, он с трудом тащился по дурной дороге из кабака к себе домой; матери его давно не было в живых; ласточки и скворец улетели; все покинули его, кроме Йоханны. Она догнала его и пошла с ним рядом.

– Возьми себя в руки, Расмус! – сказала она.

– Что толку! – возразил он.

– Дурная у тебя поговорка! – продолжала она. – Вспомни-ка лучше поговорку матери: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Ты вот этого не делаешь, Расмус, а надо! Никогда не говори: «что толку?» Этим ты подрываешь в корне всякое дело!

Она проводила его до дверей дома и ушла, но он не вошёл в дом, а присел под старую ивою на повалившийся верстовой столб.

Ветер шумел в ветвях дерева; слышалась не то песня, не то речь, и Расмус отвечал на неё, но никто не слышал его, кроме дерева, да шумящего в ветвях ветра.

– Брр! Как холодно! Верно, пора в постель! Уснуть, уснуть!

И он пошёл, да не домой, а к пруду, там споткнулся и упал. Дождь так и лил, ветер обдавал его холодом, но он ничего не чувствовал. Встало солнышко, к пруду стали слетаться вороны, и Расмус очнулся, но тело его почти заоченело. Упав он туда, где теперь лежали его ноги, головою, ему бы не встать вовеки, болотная плесень стала бы его саваном!

Днём в дом портного зашла Йоханна; не будь её, плохо бы пришлось Расмусу; она свезла его в больницу.

– Мы знаем друг друга с детских лет! – сказала она. – Мать твоя поила и кормила меня; никогда мне не воздать ей за это! Но я надеюсь, что ты выздоровеешь и опять станешь человеком!

И Господу Богу угодно было поднять его на ноги. Но в здоровье его и телесном и духовном пошли с тех пор скачки, – то лучше, то хуже.

Ласточки и скворец по-прежнему улетали и прилетали; Расмус состарился преждевременно. Одиноким бобылем жил он в своём доме, который ветшал всё больше и больше. Совсем обнищал Расмус, стал беднее Йоханны.

– Веры у тебя нет! – говорила она. – А коли у нас нет веры в Бога, так что же у нас есть? Следовало бы тебе сходить к

причастию! Ты, ведь, не причащался с самой конфирмации.

– Что в этом толку? – ответил он.

– Ну, коли ты так рассуждаешь, так лучше и не ходи! Невольных гостей Господь не хочет видеть за своим столом. Но вспомни же свою мать, своё детство! Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?

– Что толку? – молвил он.

– Меня псалмы всегда утешают! – сказала она.

– Йоханна, ты стала святошей! – И он посмотрел на неё усталым, тусклым взглядом.

А Йоханна прочла псалом – не по книге, у неё не было её, а наизусть.

– Прекрасные слова! – сказал он. – Но я не могу хорошенько вникнуть в них. Голова у меня такая тяжёлая.

Расмус стал стариком, но и Эльза была уже немолода. Упомянем о ней к слову, Расмус же никогда не упоминал о ней. Она была уже бабушкой. Резвая маленькая внучка её играла раз с другими деревенскими детьми, а Расмус проходил мимо, опираясь на палку. Увидав детей, он остановился и с улыбкой стал смотреть на их игру, – в памяти его воскресло былое. Но внучка Эльзы указала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки подхватили: «Дурачок Расмус!» и пустились преследовать старика.

Тяжёлый то был, пасмурный день; за ним потянулись такие же, но в конце концов ненастье всегда сменяется солнышком.

Утро в день Троицы выдалось чудесное; церковь вся была убрана зелёными берёзками; пахло точно в лесу; солнышко играло на церковных стульях; большие свечи у алтаря так и сияли. Приступили к причащению; Йоханна была в числе причастниц, но Расмуса не было. Как раз в это утро Господь отозвал его к Себе.

А у Бога всякий найдёт и милосердие, и сострадание!

Прошло много лет; дом портного всё ещё стоит, всё ещё держится, но в нём уже никто не живёт – он, пожалуй, упадёт в первую же бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником.

Ветер шумит в ветвях старого дерева. Сдаётся, что внемлешь песне; поет её ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их,

спроси старую Йоханну из богадельни!

Она живёт там, поёт свой псалом, который пела Расмусу, вспоминает о нём и молит за него Творца – верная душа! Она-то вот и может рассказать тебе о былом, растолковать, о чём шумит ветер в ветвях старой ивы!

(Голосов: 1. Рейтинг: 5,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Садовник и господа



В одной миле от столицы лежало старинное барское поместье; в поместье был замок со множеством башен, окружённый толстыми стенами.

В замке жили – конечно, только в летнее время – богатые, знатные господа. Это поместье было лучшим, богатейшим из всех их имений; замок смотрел отстроенным заново, внутри всё было устроено с таким комфортом и удобством. Над воротами

красовался высеченный из камня родовой герб господ; и герб, и весь верхний выступ ворот были обвиты розами. Перед самым замком расстилался зелёный ковёр – лужайка, покрытая дёрном; в саду рос и красный, и белый тёрн, и разные редкие цветы – прямо на вольном воздухе, кроме тех, что росли в теплице.

Недаром же господа держали дельного садовника! Любо было посмотреть на цветник, на фруктовый сад и на огород. Но к ним примыкал ещё остаток старого сада – площадка, обсаженная кустами буксбаума, подстриженными в виде корон и пирамид, и на ней два могучих старых дерева, почти всегда оголённых, без единого листочка, и словно осыпанных во время какого-нибудь урагана большими комками навоза. На самом же деле эти комки были птичьими гнёздами.

На деревьях гнездилась с незапамятных времён масса крикливых грачей и ворон. Тут был настоящий птичий городок; птицы являлись здесь владельческими господами; и то сказать, они были, ведь, старейшими обитателями усадьбы, а следовательно, и настоящими господами здесь! Им мало было дела до людей, которые копошились там внизу, – они, так сказать, только терпели этих низменных созданий, хотя те порою и палили в них из ружей, так что у них дрожь пробегала по спине, и они в ужасе взлетали кверху с криками: «Ду-ррак! Ду-ррак!»

Садовник часто говорил господам, что следовало бы срубить эти старые некрасивые деревья и заодно избавиться от крикливых птиц, – они, наверно, улетят тогда в другое место. Но господа не желали расстаться ни с деревьями, ни с птицами: так было в усадьбе в старину, так оно должно было остаться и впредь – никаких перемен.

– Эти деревья – родовое имение птиц, пусть же они владеют им, добрейший Ларсен!

Фамилия садовника была Ларсен, но в данном случае фамилия его ни при чём.

– Да и разве мало у вас места, добрейший Ларсен? И цветник, и теплицы, и фруктовый сад, и огород – всё в вашем распоряжении! Действительно, всё это было предоставлено на его полное попечение, и он ухаживал за вверенным ему участком с любовью и усердием. И господа ценили его за это, но вместе с тем и не

скрывали, что в гостях им нередко приходилось кушать лучшие фрукты и любоваться более красивыми цветами, чем у себя дома. Это огорчало садовника, – он хотел иметь в господском саду всё, что только было лучшего из фруктов и цветов, и употреблял для этого все старания. Он был добрый, честный слуга.

Раз господа позвали его к себе и сказали со всею господскою мягкостью и снисходительностью, что вот-де накануне им пришлось отведать у своих знатных друзей таких вкусных, сочных яблок и груш, что и они, и все остальные гости были просто поражены; конечно, эти плоды наверно не здешние, но их надо развести и здесь, если только климат позволит. Господа узнали, что плоды были куплены в городе, в лучшем фруктовом магазине; так вот, пусть садовник съездит туда и узнает, откуда они привезены, а затем выпишет черенки.

Садовник хорошо знал хозяина того магазина, – ему-то как раз он, с согласия господ, и продавал весь излишек фруктов из их сада.

И вот, садовник отправился в город и спросил хозяина магазина, откуда он достал эти хвалёные яблоки и груши.

– Да из вашего же сада! – ответил тот и показал садовнику плоды.

Садовник сразу признал их.

Как же он был рад! Живо вернулся домой и доложил господам, что и яблоки, и груши из их собственного сада.

Господа и верить не хотели.

– Это просто невозможно, Ларсен! Вот, если бы вы могли достать от хозяина магазина письменное удостоверение?..

Конечно! Удостоверение было доставлено.

– Замечательно! – сказали господа.

С тех пор на господском столе стали ежедневно появляться большие вазы с этими великолепными яблоками и грушами из собственного сада господ. Стали также рассылать их бочонками всем друзьям, жившим в городе и за городом, и даже за границу. Господам это доставляло такое удовольствие! Но они, конечно, не забывали и того, что два последние лета были особенно благоприятны для фруктов, которые удались у всех!

Прошло несколько времени. Господа были приглашены на

придворный обед. На другой день садовника позвали к господам: во дворце им подавали за десертом удивительно сочные, нежные и вкусные дыни прямо из королевской теплицы.

– Надо вам отправиться к придворному садовнику, Ларсен, и добыть семян этих чудных дынь!

– Да, ведь, придворный садовник сам брал семена от нас! – радостно сказал садовник.

– Ну, так он сумел выходить из них удивительные плоды! – сказали господа. – Каждая дыня была превосходна!

– Тем больше чести мне! – сказал садовник. – Я могу доложить милостивым господам, что у придворного садовника дыни нынешний год совсем не удались, и, увидав, как хороши и вкусны наши, он взял у меня для вчерашнего обеда три штуки.

– Ларсен! Не воображайте, что те дыни из нашего сада!

– А я думаю, что так! – ответил садовник, отправился к придворному садовнику и добыл от него письменное удостоверение, что дыни, поданные вчера к королевскому столу, были взяты из сада его господ.

Господа были поражены, но не стали держать этой истории в секрете, всем показывали удостоверение и повсюду рассылали семена дынь, как прежде черенки яблонь и грушевых деревьев.

А относительно этих черенков приходили известия, что они привились, и деревья стали приносить великолепные плоды, получившие название в честь господской усадьбы; таким образом, имя её получило теперь известность и на французском, и на немецком, и на английском языках.

Ничего такого господам и не снилось прежде.

– Только бы наш садовник не возомнил о себе слишком много! – говорили они.

Но садовник относился к делу совсем иначе и заботился только о том, чтобы удержать за собою славу одного из лучших садовников в стране. Ради этого он прилагал все старания, чтобы ежегодно иметь в господском саду самые лучшие плоды и цветы. Тем не менее, ему часто приходилось слышать от своих господ, что из всех доставленных им фруктов лучше всего удались ему те первые яблоки и груши. Конечно, и дыни были очень хороши, но это, ведь, совсем другое дело! Земляника же, хоть и действительно

превосходная, всё же была не лучше чем у многих других господ. А случилось один год, что у садовника не удались редиски, так только и разговору было, что о неудавшихся редисках, о том же, что удалось, совсем не говорили.

У господ как будто легче становилось на сердце, если они могли сказать:

– Не повезло вам нынешний год, добрейший Ларсен! – Им просто приятно было говорить: – Да, да, не повезло вам! –

Два-три раза в неделю садовник украшал комнаты свежими букетами цветов, подобранных с таким вкусом, что все краски как-то особенно эффектно оттеняли друг друга.

– У вас есть вкус, Ларсен! – говорили господа. – Но это дар Божий, и вы сами тут ни при чём!

Однажды садовник принёс в комнаты большую хрустальную вазу, в которой плавал большой лист кувшинки, а на нём покоился яркий голубой цветок величиною с подсолнечник, длинный же толстый стебель его купался в воде.

– Индийский лотос! – вскричали господа.

Никогда ещё не видывали они такого цветка! И вот, днём его выставляли на яркое солнышко, а вечером освещали искусственным светом, и все гости приходили в восторг от прекрасного, редкого цветка. Такое впечатление цветок произвёл даже на самую знатную даму во всей стране – на молодую принцессу, а она была очень умна и добра сердцем.

Господа сочли за честь поднести ей цветок, и она увезла его с собою во дворец, а господа отправились в сад, – им хотелось сорвать себе другой такой же цветок, если только найдётся ещё хоть один, но ничего не нашли. Тогда они призвали садовника и спросили, откуда он взял голубой лотос.

– Мы напрасно искали его повсюду! – сказали они. – Искали и в теплице, и в цветнике!

– Да там-то вы его и не найдёте! – ответил садовник. – Это, ведь, простой цветок из огорода! Но красив он, правда? Ни дать – ни взять цветок голубого кактуса! А на самом-то деле только цвет артишока!

– Вам следовало заявить нам это сразу! – сказали господа. – А то мы приняли его за редкий тропический цветок! Вы нас

скомпрометировали перед принцессой! Она увидела его у нас, и он ей очень понравился, но она не знала, что это за цветок, даром что прошла всю ботанику! Но, конечно, этой науке нет дела до кухонных трав! Как же это вам взбрело на ум принести такой цветок в комнату? Ведь, нас теперь на смех подымут!

И прекрасный голубой цветок, питомец огорода, был приговорён к изгнанию из барских покоев, – тут ему было не место – а сами господа поехали к принцессе извиниться и объяснить, что это только простой огородный цветок, который садовнику вздумалось принести в комнаты, за что он уже и получил выговор.

– Ну, это и грешно, и несправедливо! – сказала принцесса. – Он только открыл нам глаза на прелестный цветок, которого мы прежде не замечали, указал красоту там, где нам и в голову не приходило искать её! Я велю придворному садовнику ежедневно, пока артишоки будут в цвету, приносить мне в комнату по такому цветку!

И как сказала, так и сделала.

Тогда и господа объявили садовнику, что он опять может приносить им в комнаты свежие цветы артишока.

– В сущности-то они очень красивы! – сказали они. – И в высшей степени оригинальны!

И садовника даже похвалили.

– А он страсть это любит! – толковали господа потом. – Он словно балованный ребёнок у нас!

Осенью случилась страшная буря; разыгралась она ночью и так свирепствовала, что выворотила с корнями много деревьев на опушке леса, а также, к большому огорчению господ, как они сами сказали, и к радости садовника, повалила и два больших старых дерева с птичьими гнёздами. Сквозь завывания бури слышны были крики грачей и ворон, которые, по рассказам дворни, даже бились крыльями в оконные стёкла.

– Ну, теперь вы рады, Ларсен? – сказали господа. – Буря свалила деревья, и птицы улетели в лес. Ничто больше не напоминает взору о старине! Всякий след её стёрт, уничтожен! Нас это огорчает!

Садовник не сказал ни слова, но решил поскорее приступить к осуществлению своей давнишней мечты, воспользоваться, как

следует, этим чудесным, залитым солнцем местечком, до которого прежде не смел касаться. Оно послужит к украшению сада, и господа сами будут довольны.

Старые деревья, падая, смяли и переломали старые кусты буксбаума со всеми их отводками, и садовник решил совсем вырвать их и засадить всё местечко простыми полевыми и лесными растениями. Ничего такого не пришло бы в голову другому садовнику! Он рассадил все эти растения как можно лучше: любящие тень – посадил в тени, любящие солнце – на солнышке, заботливо ухаживал за ними, и они разрослись на славу.

Среди этой группы возвышался можжевельник, питомец ютландских степей, напоминающий итальянский кипарис, и блестящий колючий, вечно-зелёный и летом и зимою, красивый Христов тёрн, а пониже росли папоротники всех сортов и видов; одни были похожи на миниатюрные пальмы, другие на тонкое прелестное растение «Венерины волосы». Рос здесь также и скромный репейник, свежие цветы которого так красивы, что их не грех поместить в любой букет. Репейник был посажен на сухом месте, а пониже, в более сыром грунте, рос лопух, также самое простое, но, благодаря своей вышине и размеру листьев, такое красивое декоративное растение. Кроме того росли здесь и осыпанные цветами, похожие на огромные канделябры, царские кудри, взятые с поля, и дикий яминник, и первоцвет, и лесные ландыши, и дикая калла, и трёхлистная нежная заячья травка, – ну, просто загляденье!

А на самом первом плане опирался на проволочную ограду ряд маленьких грушевых деревьев французской породы. Росли они на самом припёке, за ними заботливо ухаживали, и они скоро стали приносить большие, сочные плоды, какие приносят у себя на родине.

Вместо же двух старых голых деревьев садовник водрузил здесь высокий шест с Данеброгом на вершине, а рядом с ним другой, обвитый летом и осенью душистым хмелем; зимою же к верхушке его, согласно старинному обычаю, привязывался сноп необмолоченного овса – на поживу птицам небесным. Пусть и птички весело справят сочельник!

– Наш добрейший Ларсен ударился на старости лет в сентиментальность! – сказали господа. – Но нам-то он очень

предан!

Около Нового года, в одном из иллюстрированных журналов появилась картинка, изображающая старое господское поместье. На ней были также видны и шест с Данеброгом и шест с привязанным к нему снопом – рождественским угощением для птиц. К рисунку относилась заметка, в которой приветствовалась прекрасная мысль – воскресить старинный обычай, столь характерный для старого господского поместья.

– Обо всём, что ни сделает этот Ларсен, вечно трубят во все трубы! – сказали господа. – Вот счастливец! Право, кажется, нам впору гордиться тем, что он служит у нас!

Но они вовсе не гордились этим. Они, ведь, сознавали себя господами, которые могут и отказать Ларсену, если вздумают. Но, конечно, они ему не отказывали, – они были, ведь, добрые господа, и таких добрых господ немало – к счастью для разных Ларсенов.

Да, вот вам и вся история о «садовнике и господах»!

Поразмыслите же о ней на досуге!

(Голосов: 1. Рейтинг: 5,00 из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Большой морской змей

Жила-была одна маленькая морская рыбка из хорошей семьи; имени её не упомяну; это пусть скажут тебе учёные. Было у рыбки тысяча восемьсот сестриц-ровестниц; ни отца, ни матери они не знали, и им с самого рождения пришлось промышлять о себе самим, плавать, как знают, а плавать было так весело! Воды для

питья было вдоволь – целый океан, о пище тоже беспокоиться не приходилось – и её хватало, и вот, каждая рыбка жила в своё удовольствие, по-своему, не утруждая себя думами.

Солнечные лучи проникали в воду и ярко освещали рыбок и целый мир удивительнейших созданий, кишевших вокруг. Некоторые были чудовищной величины, с такими ужасными пастьями, что могли бы проглотить всех тысячу восемьсот сестриц зараз, но рыбки об этом и не думали, – ни одной из них ещё не пришлось быть проглоченной.

Маленькие рыбки плавали все вместе стадом, тесно прижавшись друг к другу, как сельди и макрели. Но вот, однажды, в то время, как они беззаботно плавали себе, ни о чём не думая, в самую середину их стада шумно бухнулась сверху и начала погружаться в воду какая-то тяжёлая и такая длинная штука, что ей, казалось, и конца не будет! Она тянулась, стремительно шла ко дну, давя и калеча на пути попадавшихся рыбок. И все рыбы – и маленькие, и большие, и те, что держались на поверхности, и те, что гуляли в глубине, в ужасе улепетывали в разные стороны. Страшная тяжёлая штука между тем погружалась всё глубже и глубже, вытягивалась всё больше и больше и, наконец, протянулась на много-много миль по дну морскому, через всё море.

Рыбы и слизняки, всё, что плавает, ползает или носится по течению, все видели эту чудовищную штуку, этого невозможного, невиданного морского угря, который так неожиданно свалился к ним в море.

Что же это была за штука? Да, мы-то знаем! Это был огромный, в несколько миль длиною, морской телеграфный кабель, который проложили люди между Европой и Америкой.

То-то смятение, то-то переполох поднялись между законными обитателями моря! Летучие рыбы подпрыгивали на воздух так высоко, как только могли, а керцы<sup>[1]</sup> выскакивали из воды на целый ружейный выстрел, – такие уж прыгуны! Другие же рыбы искали убежища на дне, да так стремительно, что далеко опередили телеграфный кабель и успели напугать и треску, и камбал, которые так мирно разгуливали в глубине, поедая своих

ближних.

Несколько колбасообразных голотурий так перетрусили, что выплюнули весь свой желудок, и всё-таки остались в живых, – им это нипочём. А сколько повышло из себя от перепуга омаров и крабов! Да ещё как! Так, что под бронёй остались одни ножки!

Во время всего этого переполоха тысяча восемьсот сестриц-рыбок рассеялись в разные стороны и больше уж не встречались, а, может быть, и встречались, да не узнавали друг друга. С десяток сестриц удержались, впрочем, вместе, и когда первый страх прошёл, вышли из оцепенения, в котором пробыли несколько часов, и принялись любопытно озираться вокруг.

Поглядели они по сторонам, поглядели вверх, поглядели вниз, и им показалось, что они видят в глубине ту ужасную штуку, которая так напугала всех и больших, и малых. Она была очень тонка на вид, но, ведь, почём знать, насколько она может раздуться, или насколько вообще сильна! Она лежала на дне смирёхонько, но они подозревали, что это она только так, лукавит.

– Пусть её лежит, где лежит! Нам до неё дела нет! – сказала самая осторожная из рыбок, но самая маленькая не хотела отказаться разузнать, что это была собственно за штука. Явилась она сверху; наверху, значит, надо и начать разведки, и вот, рыбки поднялись на поверхность. Стоял штиль; море лежало как зеркало.

Там они встретили дельфина. Это такой гуляка, вертопрах, знай себе кувыркается на морской поверхности, но глаза-то у него есть, – наверное уж он видел ту штуку и знал о ней что-нибудь! Рыбки приступили к нему с вопросами, но он был занят только самим собою и своими прыжками, ничего не видал, ни о чём не знал и гордо помалчивал.

Тогда рыбки обратились к тюленю, который только что погрузился в воду. Этот оказался вежливее, нужды нет, что он ест маленьких рыбок; сегодня, впрочем, он был сыт. Он знал немножко побольше прыгуна-дельфина.

– Я много ночей провёл, лёжа на мокром камне и поглядывая на землю. Прелукавые создания эти «люди», как они сами себя называют! Они всячески стараются истребить нас, но чаще всего

мы ускользаем из их рук. Мне это удавалось, удалось вот и тому морскому угрю, о котором вы спрашиваете. Он попался им в лапы, вероятно, ещё в незапамятные времена и с тех пор оставался на земле. Но вот они вздумали перевезти его на судне в другую, ещё более отдалённую землю. Я видел, как они старались и тужились и наконец таки одолели его, – конечно, он успел ослабеть там, на суше! И вот, они согнули его в кольцо; я слышал, как он хрустел и трещал, когда они укладывали его, но потом ему всё-таки удалось ускользнуть от них сюда! Они держали его изо всех сил, вцепились в него сотнями рук, а он всё-таки удрал от них на самое дно и теперь лежит там пока что!

– Он что-то тонок! – сказали рыбы.

– Они заморили его голодом! – ответил тюлень. – Но погодите, он скоро оправится, опять войдёт в тело! Я полагаю, что это-то и есть тот большой морской змей, о котором люди так много толкуют и которого так боятся. Раньше я никогда его не видывал и даже не верил в него, но теперь верю. Это он и есть!

И тюлень нырнул вглубь.

– Как много он знает! Как много он насказал! – затараторили рыбки. – Я сроду не знавала столько! Только бы он не наврал нам?

– Мы можем спуститься на дно и удостовериться! – сказала самая маленькая. – По дороге же узнаем, что говорят другие!

– Ну, нет, мы не шевельнём плавником, чтобы разузнавать ещё! – сказали остальные рыбки и отстали.

– А я так добыюсь своего! – сказала самая маленькая и устремилась на дно. Но она оказалась далеко от того места, где лежала «длинная штука». Рыбка принялась искать её, шныряя во все стороны.

Никогда ещё не думала она, что мир их так велик. Сельди гуляли огромными стаями, блистая чешуёй, словно исполинские лодки из серебра; макрели ходили такими же стаями и сияли ещё ярче. Повсюду гуляли рыбы всех родов и видов, всевозможных оттенков. Медузы, точно полупрозрачные цветы, неслись по течению; со дна подымались большие растения, трава в сажень вышиной и пальмообразные деревья; на каждом листке красовались блестящие

раковинки.

Наконец, рыбка увидела на дне какую-то длинную, тёмную черту и устремилась к ней, но оказалось, что это не рыба и не кабель, а борт затонувшего корабля; верхняя и нижняя палубы его были снесены волнами. Рыбка вплыла в каюту; течение унесло оттуда всех утонувших вместе с кораблём людей, исключая двух: молодой женщины и ребёнка, которого она держала в объятиях. Волны слегка приподымали их, словно баюкая; и мать, и ребёнок казались спящими. Рыбка совсем перепугалась: она, ведь, не знала, что они не могут больше проснуться. Водяные растения обвивали борт корабля и сплелись беседкой над прекрасными трупами матери и ребёнка. Как тут было тихо, пустынно! Рыбка поспешила поскорее убраться отсюда, туда, где вода была освещена ярче, и где попадались живые рыбы. Немного спустя, рыбка встретила молодого кита, огромного-преогромного.

– Не ешь меня! – взмолилась рыбка. – Я такая маленькая, меня и на глоток-то не хватит, а мне так хочется жить!

– А что тебе понадобилось тут, в глубине? Тут ваша сестра не водится! – сказал кит.

И рыбка рассказала ему о длинном диковинном угре, или чем там была эта штука, которая погрузилась сверху и напугала даже самых храбрых обитателей моря.

– Ого! – сказал кит, и так потянул в себя воду, что можно было представить себе, какой он пустит фонтан, когда опять вынырнет на поверхность! – Ого! – продолжал кит. – Так это та штука, что пощекотала меня по спине, когда я повернулся на другой бок! А я то думал, что это корабельная мачта и радовался было, что нашёл себе хорошую чесалку! Но случилось это не тут! Нет, штука та лежит подальше! Что ж, надо от нечего делать расследовать, в чём дело!

И он поплыл вперёд, а маленькая рыбка за ним – на почтительном расстоянии, – он оставлял за собою такой бурный, пенящийся след.

На пути они встретили акулу и старую меч-рыбу. Те тоже слышали о диковинном тонком и длинном угре, но ещё не видели его и непременно хотели.

Потом явился морской кот.

– И я с вами! – сказал он. – И если этот большой морской змей не толще якорной цепи, я разом перекушу его пополам! – Тут он открыл свою пасть и показал шесть рядов зубов. – Я могу оставить ими метку на корабельном якоре, так уж этакий-то стебелёк и подавно перекушу!

– Вот он! – сказал кит. – Я вижу его! – Он воображал, что видит лучше других. – Смотрите, как он подымается, извивается, корчится!

Но это был вовсе не морской змей, а огромный морской угорь, в несколько сажен длиною.

– Ну этого-то я и раньше видела! – заявила меч-рыба. – Не ему наделать такого переполоха в море и перепугать больших рыб!

И все рассказали угрю о новом угре и спросили, не отправится ли и он вместе с ними на разведки.

– Коли тот угорь длиннее меня, так надо ему шею свернуть! – сказал угорь.

– Да, да! – подхватили другие. – Нас довольно, чтобы не спустить ему!

И они двинулись вперёд.

Но вот что-то загородило им дорогу, что-то чудовищное, превосходящее своею величиною всех их вместе! Чудовище походило на плавучий остров, который не мог удержаться на поверхности.

Это был старый-престарый кит. Голова его вся поросла водяными растениями, а чёрная спина была усажена разными гадами и такой массой устриц и ракушек, что казалась вся в белых пятнах.

– Пойдём с нами, старина! – сказали они ему. – Тут появилась новая рыба, которая не может быть терпима!

– Нет, я лучше останусь на месте! – сказал старый кит. – Оставьте меня в покое! О-хо-хо! Я совсем разболелся! Только и облегчения, что всплыть на поверхность, да выставить из воды спину! Тогда прилетают добрые, большие морские птицы и ковыряют мне спину. Славно! Если только они не запускают клювов слишком глубоко в жир, а это часто бывает. Вот смотрите! Я так и таскаю на спине целый птичий остов! Птица запустила когти слишком глубоко и не могла высвободиться, когда я нырнул вглубь. Теперь рыбки пообчистили её. Полюбуйтесь-ка на неё да

и на меня! Ох, я совсем расхворался!

– Ну, это одно воображение! – сказал молодой кит. – Я никогда не хвораю! Ни одна рыба не хворает!

– Извините! – сказал старый кит. – У угря болит кожа, у карпов бывает оспа, и у всех у нас глисты!

– Чепуха! – сказала акула.

Ей не хотелось больше слушать, да и остальным тоже, – у них было другое дело.

Наконец, они добрались до места, где лежал телеграфный кабель. Он тянулся через весь океан от Европы до самой Америки, по песчаным мелям, по морскому илу, скалистому грунту, сквозь чащу водяных растений, через целые леса кораллов. Тут, в глубине, течения встречаются, образуются водовороты, кишат несметными стаями рыбы; их тут больше, чем птиц в поднебесьи во время перелёта. Движение, плеск, гул, шум... Отголосок этого шума слышится ещё внутри больших пустых раковин, если приложить их к уху.

– Вон он лежит! – сказали большие рыбы, а за ними и маленькая, которая первая пустилась на разведки. Они увидели кабель, начало и конец которого терялись из вида.

Губки, полипы и горгоны колыхались на дне, опускались и наклонялись над кабелем, так что он то совсем скрывался под ними, то опять показывался. Морские ежи, слизняки и червяки тоже копошились около него; исполинские пауки, носившие на себе целые посёлки паразитов, шагали вдоль по кабелю. Тёмно-голубые морские колбасы, или как там зовут тех гадов, что едят всем своим телом, лежали смиренно и словно принюхивались к новому созданию, лежавшему на дне моря. Камбала и треска перевёртывались в воде с боку на бок, чтобы слышать на все стороны. Морские звёзды, которые вечно зарываются в ил, выставляя наружу только два длинных хоботка с глазами, лежали и тарасили глаза в ожидании, что выйдет из всей этой кутерьмы. Кабель лежал недвижимо, но внутри его кипела жизнь, работали мысли, – он, ведь, был проводником человеческих мыслей!

– Хитрит он! – сказал кит. – Пожалуй, возьмёт, да и хлестнёт меня в живот, а это моё самое больное место!

– Надо пощупать его! – сказал полип. – У меня длинные руки,

гибкие пальцы! Я уже трогал его слегка, а теперь возьмусь покрепче! – И он протянул свои гибкие длиннейшие руки к кабелю и обвил его.

– Чешуи на нём нет! – заявил полип. – И кожи нет! Он вряд ли рождает живых детёнышей!

Морской угорь растянулся рядом с кабелем и вытянулся как только мог.

– Нет, эта штука длиннее меня! – сказал он. – Ну, да не в одной длине дело, надо тоже иметь и кожу, и желудок, и гибкость!

Молодой силач-кит погрузился чуть не на самое дно; так глубоко он ещё никогда не погружался.

– Рыба ты или растение? – спросил он. – Или ты просто человеческая выдумка? Тогда тебе не поздоровится!

Телеграфный кабель безмолвствовал: он хоть и разговаривает, да не так; он передаёт человеческие мысли, которые пробегают в одну секунду сотни миль.

– Или отвечай, или мы загрызём тебя! – крикнула свирепая акула, за нею повторили то же и остальные:

– Или отвечай или мы загрызём тебя!

Но кабель не двигался, он думал своё. И как ему было не думать, если он был полон мыслями! Он думал: «Грызите себе на здоровье! Испортите – меня вытащат, да исправят! Случалось это с нашим братом, хоть и не в таких больших морях!»

Вот почему он и не отвечал. К тому же он был занят другим – телеграфировал; он, ведь, лежал здесь на дне по служебной обязанности.

А над морем «заходило солнышко», как выражаются люди; оно горело, как жар, и облака на небе тоже горели, как жар, одно великолепнее другого.

– Теперь нас осветит красным огнём! – сказали полипы. – Тогда, пожалуй, и эту штуку будет виднее, если это вообще нужно.

– Ату его! Ату его! – закричал морской кот, оскаливая губы.

– Ату его! Ату его! – закричали меч-рыба, кит и морской угорь.

Все бросились вперёд, морской кот впереди всех, но только что он хотел укусить кабель, как меч-рыба сгоряча угодила ему своим мечом прямо в зад! Это была большая ошибка, и морской

кот так и не укусил кабеля, – ослабел!

Пошла кутерьма: большие и малые рыбы, морские колбасы и слизняки сталкивались, тискались, давили, мяли и пожирали друг друга. А кабель лежал себе смирнѐхонько и делал своё дело. Так оно и следует.

Над морем спустилась ночная тьма, но в море засветились мириады живых маленьких созданий. Светились даже раки величиной меньше булавочной головки! Диковинно, но это так! Обитатели моря смотрели на кабель. – Что же это за штука?

Да, вот был вопрос!

Тут явилась старая морская корова; люди зовут её «морской девой» или «водяным». Это была особа женского пола, с хвостом, двумя короткими лапами для гребли и висячими грудями; голова её была покрыта водорослями и паразитами, чем она очень гордилась.

– Хотите вы знать, в чём дело? – сказала она. – Я одна могу дать вам объяснение. Но я требую за это свободного пастбища на дне морском для меня и всех моих. Я такая же рыба, как и вы, а благодаря упражнению стала и ползучим животным. Я умнее всех в море, я имею сведения обо всём, что движется внизу и наверху. Штука эта, над которой вы ломаете себе головы, явилась сверху, а всё, что является оттуда – мертво́ или сейчас же умирает, становится бессильным. Так пусть она себе лежит! Это человеческая выдумка и больше ничего!

– Ну, а по-моему она значит кое-что побольше! – возразила маленькая рыбка.

– Молчать, макрель! – сказала морская корова.

– Ах, ты, колюшка! – сказали другие, и это вышло ещё обиднее.

И морская корова объяснила им, что вся эта громкая штука, которая в сущности-то и не пискнула даже, только выдумка людская. Затем она прочла небольшую лекцию о коварстве и злобе людей.

– Им хочется изловить нас всех! Они только для того и живут! Закидывают сети, крючки с приманкой – всё, чтобы подманить нас. И эта штука тоже нечто вроде большой удочки, – они думают, что мы все так сразу и вцепимся в неё зубами! Глупые! А мы-то не глупы! Только не троньте этой дряни, она изветшает

сама, станет трухой, тиной! Всё, что является оттуда, сверху – гниль, дрянь, никуда не годится!

– Никуда не годится! – подхватили все остальные, присоединяясь к мнению морской коровы, – надо же иметь хоть какое-нибудь!

Но маленькая рыбка осталась при особом мнении. «А, может статься, этот огромный, тонкий змей – диковиннейшая морская рыба? Сдаётся мне, что так!»

«Да, это нечто диковиннейшее!» скажем вместе с нею и мы, и скажем сознательно и уверенно.

Это-то и есть тот большой морской змей, о котором исстари твердили нам песни и предания.

Он порождение человеческого ума. Люди спустили его на дно морское, и он тянется там от восточной страны до западной, передавая вести с такою же быстротою, с какою доходит до земли луч солнца.

И змей этот всё растёт в длину, становится всё сильнее год от году, проходит по всем морям, окружает кольцом всю землю, прячась то в бурных, то в тихих и таких прозрачных волнах, что шкипер видит в них – словно плывёт в прозрачном воздухе – мириады рыб и целый фейерверк красок.

Глубоко-глубоко под воду, на самом дне, покоится этот змей, благодатный змей Мидгорд<sup>[2]</sup>, окружающий кольцом всю землю и кусающий свой собственный хвост. О него с разлёту стучаются лбами рыбы и гады, и всё-таки не понимают значения этой штуки, не понимают, что это – полный человеческих мыслей, говорящий на всех языках и в то же время немой хранитель тайн, чудо из морских чудес, современный *большой морской змей*.

---

<sup>[1]</sup>Рыба (*cottus scorpius*, *Myoxocephalus scorpius*).

<sup>[2]</sup>Ёрмунганд, Мидгардсорм – По сев. мифологии – гигантский змей, окружающий кольцом всю землю и при Рагнароке способствующий истреблению богов. Примеч. перев.

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Пляши, куколка, пляши!

– Ну, это песенка для самых маленьких ребятешек! – уверяла тётя Маллэ. – Я при всём своём добром желании не могу распевать её!

Зато это могла малютка Амалия. Ей было всего три года; она играла со своими куклами, занималась их воспитанием и старалась сделать их такими же умными, как тётя Маллэ. В дом хаживал студент; он давал уроки братьям Амалии, но часто и подолгу беседовал и с самою крошкой Амалией, и с её куклами. Малютка находила эти беседы такими забавными, но тётя Маллэ утверждала, что студент совсем не умеет обходиться с маленькими детьми: их маленьким головкам не переварить его болтовни. А вот Амалия всё-таки отлично понимала его и даже заучила с его слов целую песенку: «Пляши, куколка, пляши!» и распевала её трем своим куклам; две были новые: барышня и кавалер, а третья старая, и звали её Лизой. Но и Лиза тоже слушала песенку и принимала участие в танцах.

«Пляши, куколка, пляши!  
Веселись от всей души!  
Разодета ты по моде,  
Кавалер твой в том же роде!  
В белом галстукe, в сапожках,  
И с мозолями на ножках!  
Как вы оба хороши!  
Пляши, куколка, пляши!

Да и ты не отставай,  
Лиза – свет мой, не зевай!  
Хоть стара ты и чумаза,  
Без волос стала, без глаза,  
Паричок мы смастерили,  
Щёчки, носик приумыли –  
Вновь ты стала хоть куда!  
Так поди ж и ты сюда!

Пляши, куколка, пляши,  
Веселись от всей души!  
Ручки в бок, вертись живее!  
Вправо! Влево! Ну, бойчее!  
Коль плясать, так уж на славу,  
На здоровье, на забаву,  
Веселиться от души!  
Пляши, куколка, пляши!»

И куклы понимали песню, крошка Амалия тоже, и студент тоже. Он, ведь, сам сочинил её и сказал, что она очень удалась. Не понимала её только тётя Маллэ, – она уж давно вышла из пелёнок! Но крошка Амалия продолжала распевать песенку. От неё-то мы её и переняли.

(Голосов: **1**. Рейтинг: **5,00** из 5)

Загрузка...

---

## Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Самое невероятное

Тот, кто делает самое невероятное, возьмёт за себя принцессу,  
а за ней в приданое полкоролевства!

Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы, напрягать мозги, жилы и мускулы. Двое объелись, двое опились до смерти – в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки вылезали из кожи, чтобы плюнуть самим себе в спину, – невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трёхлетних детей до девяностолетних старцев. Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самую невероятную из них были большие столовые часы удивительного и внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было двенадцать, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами.

– Это самое невероятное! – говорили все.

Бил час, и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Било два – взорам представлялся райский сад, жилище Адама и Евы, двух счастливых, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего – даже шкафа для платья; ну, да они в нём и не нуждались!

В три часа появлялись трое царей, шедших с востока на поклонение Иисусу; один из них был чёрен, как голенище, но не по своей вине, – это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распутившеюся буквою ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели, и зима со старою вороной-сказочницей, умевшею рассказывать в уголке за печкою старые предания.

Часы били пять – выходили пять чувств: зрение – в образе оптика, слух – медника, обоняние – продавщицы фиалок и дикого яминника, вкус – повара, а осязание или чувствительность –

распорядителя похоронной процессии, в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Било шесть – выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко – шесть.

Затем следовали семь дней недели или семь смертных грехов; насчёт этого шла разногласица, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов – восемь человек и пел заутреню.

С последним ударом девяти являлись девять муз; одна занималась астрономиею, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру.

Било десять, и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Било одиннадцать, и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «пробил одиннадцатый час»!

Наконец, било двенадцать, и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утреннею звездою»<sup>[1]</sup> в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

„Полночь настала,  
Спаситель родился!“

А в то время, как он пел, вокруг расцветали розы и затем превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным» по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек ещё молодой, сердечный, с детски весёлою душою, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы и полкоролевства.

День присуждения награды наступил; весь город убрался по праздничному; сама принцесса сидела на троне; подушки его набили новым волосом, но сам он от этого не стал ни удобнее,

ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой весёлый, бодрый, уверенный в своём счастье, – он, ведь, сделал самое невероятное.

– Нет, это вот я сейчас сделаю! – закричал высокий, мускулистый парень. – Я совершу самое невероятное!

И он занёс над чудесными часами тяжёлый топор.

Трах! – и всё было разбито вдребезги! Колёса и пружины разлетелись по полу, всё было разрушено!

– Вот вам я! – сказал силач. – Один удар, и – я поразил и его творение, и вас всех! Я сделал самое невероятное!

– Разрушить такое чудо искусства! – толковали судьи. – Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот, принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу, – закон остается законом, как бы он ни был невероятен.

С вала, со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно вечером, – эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задира л голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.

Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум!.. В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестой. Умершие люди не могут восстать из могилы, это мы все хорошо знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось, – вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробил час, потом два, и т. д. до двенадцати, и картина являлась за картиною. Прежде всех явился Моисей; от чела его исходил пламень; он уронил тяжёлые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.

– Поднять их снова я не могу! – сказал Моисей. – Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь!

Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором:

«Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные по величине образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же, наконец, пробило двенадцать, и выступил ночной сторож в шлеме и с «утреннею звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

– Лежи! – сказал он. – Мера за меру! Теперь и мы отомщены и художник! Исчезнем!




И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звёзды, рассыпанные по потолку, засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

– Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника всего этого! – молвила принцесса. – Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника! Да, вот это-то и было «самое невероятное!»

---

<sup>[1]</sup>палка сторожа

     (Голосов: **1**. Рейтинг: **5,00** из 5)

 Загрузка...

---

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Прадедушка

Прадедушка был такой славный, умный и добрый, все мы так любили и уважали его. Сначала-то, с тех самых пор, как я себя помню, его звали дедушкой, но вот у моего старшего брата Фредерика родился сынок, и дедушку произвели в прадедушки. Выше этого звания ему уж не подняться было в жизни. Он очень любил нас всех, но наше время не особенно-то жаловал.

– То ли дело было в доброе старое время! – говаривал он. – То время было солидное, степённое! А теперь все несутся, сломя голову, всё идёт вверх дном! Молодёжь ораторствует, говорит о королях так, как будто они им ровня! Любой господин с улицы может обмакнуть свою тряпку в грязную лужу, да выжать её над головой почтенного деятеля!

И, говоря это, прадедушка весь краснел, но потом опять успокаивался, улыбался своею обычною ласковою улыбкой и говорил:

– Ну! Я, может быть, и не вполне прав! Но я человек старого времени и не могу попасть в ногу с новым! Предоставим же Господу Богу вести его!

Слушая рассказы прадедушки о старых временах, я как будто сам переживал их: разъезжал мысленно в золотой карете с гайдуками, видел церемонии перенесения цеховой вывески с музыкой и знамёнами, участвовал в забавных святочных развлечениях и играх. Правда, и в те времена было много дурного и ужасного: колёса, дыбы, кровопролитие, но даже и эти ужасы имели в себе что-то заманчивое! Много и хорошего узнавал я из рассказов прадедушки: узнал, например, о датских дворянах, освободивших крестьян, о датском кронпринце, прекратившем торговлю рабами. Да, славно было послушать рассказы прадедушки о днях его молодости, но предшествовавшее тому время было всё-таки ещё лучше – такое сильное, могучее!

– Жестокое, варварское! – отозвался брат Фредерик. – Слава Богу, что оно миновало!

Он так прямо и заявил это прадедусшке! Не совсем-то это было хорошо с его стороны, но я всё-таки очень уважал Фредерика. Он был моим старшим братом, «мог бы даже быть моим отцом», – говорил он сам; такой чудак! Он блестяще сдал свой студенческий экзамен, а в конторе у отца занимался так прилежно, что скоро его допустили к участию в делах фирмы. Он был любимцем прадедусшки, но они вечно спорили друг с другом. Эти двое никогда не поймут друг друга, никогда не столкнутся, – говорила о них вся семья, а я как ни мал был, всё-таки заметил, что эти двое и обойтись друг без друга не могут!

Когда Фредерик рассказывал или читал при прадедусшке о новых научных открытиях и изобретениях, знаменующих наше время, глаза старика так и светились.

– Люди становятся умнее, но не добрее! – говаривал он, однако, вслед затем. – Они изобретают на гибель друг другу ужаснейшие орудия истребления.

– Зато тем скорее и войне конец! – возражал Фредерик. – Теперь уж не приходится ждать мира по семи лет! Мир страдает полнокровием, и пускать ему время от времени кровь необходимо! Раз Фредерик рассказал прадедусшке о происшествии, действительно случившемся в одном городке. Часы бургомистра, большие часы на башне ратуши, устанавливали время для всего города. Часы шли не совсем верно, но всё же весь город сообразовался с ними. Но вот провели железную дорогу; она была в связи с железнодорожной сетью других стран, и тут уж приходилось точно рассчитывать время, а то поездам недолго было и столкнуться! На вокзале были установлены свои солнечные часы; они указывали время верно, не то, что бургомистровы, и вот, все жители города стали проверять свои часы по железнодорожным.

Я засмеялся, – история показалась мне забавною.

Но прадедусшка и не думал смеяться; напротив, он стал ещё серьезнее.

– В твоём рассказе есть кое-что! – начал он, обращаясь к Фредерику. – И я понимаю, зачем ты это рассказал мне. Твои часы очень поучительны. Они приводят мне на память другие часы, старые, простые борнгольмские часы с тяжёлыми свинцовыми

гирями, принадлежавшие моим родителям. По этим часам жили мои родители, жил и я, когда был ребёнком. Может быть, они шли и не совсем верно, но всё-таки шли, а мы смотрели на стрелку и верили ей, не заботясь о колёсах внутри. Так-то вот обстояло тогда дело и с государственным механизмом: люди спокойно верили тому, что показывали стрелки. Теперь же государственный механизм стал часами из стекла; всё устройство их на виду; видишь, как вертятся и жужжат колёса, боишься за каждый зубчик, за каждое колёсико, сомневаешься, верно ли бьют часы, ну, и прежнего детского доверия уже нет! Вот слабость нашего времени!

И прадедушка кончал тем, что начинал горячиться. Они с Фредериком никак не могли столкнуться, но и разлучить их было трудно, «как прошлое с настоящим». Это поняли они оба и вся семья, когда Фредерику пришлось отправиться по делам фирмы в далёкий путь, в Америку. Тяжело было прадедушке перенести такую разлуку, – далеко, ведь, отправлялся Фредерик, за море, в другую часть света!

– Каждые две недели ты будешь получать от меня по письму! – сказал Фредерик. – А ещё быстрее всякого письма прилетит к вам от меня весточка по телеграфной проволоке. Вместо дней понадобятся часы, вместо часов – минуты!

Первый привет пришёл от Фредерика из Англии; он послал его, садясь на корабль, отплывавший в Америку. А затем быстрее всякого письма – хоть бы его взяли доставить сами несущиеся облака – пришёл привет из Америки, где Фредерик высадился всего несколько часов тому назад!

– Наше время озарила поистине божественная мысль! – сказал тогда прадедушка. – Телеграф – благодеяние для человечества!

– И Фредерик говорил мне, что первое открытие этих сил сделано у нас на родине! – сказал я.

– Да! – ответил прадедушка и поцеловал меня. – Да, и я сам глядел в те ласковые очи, которые первые проникли в тайны этой новой силы природы! В них светилась такая же детская душа, как в твоих! Довелось мне и пожать ему руку!

Тут прадедушка опять поцеловал меня.

Прошло более месяца, и вот мы получили от Фредерика письмо,

извещавшее о его помолвке с молодой прелестной девушкой, которую, конечно, полюбит вся семья. В письмо была вложена её фотографическая карточка, и мы рассматривали её на все лады – и простыми глазами, и сквозь увеличительное стекло. То-то, ведь, и хорошо в этих фотографических снимках, что их можно рассматривать сквозь самые сильные увеличительные стёкла, и сходство выступает только ещё сильнее! А этого ни могли добиться художники-портретисты, даже самые величайшие из старинных мастеров!

– Обладай этим изобретением старое время, мы могли бы теперь видеть перед собою лицом в лицу всех великих людей и благодетелей человечества! – сказал прадедушка. – Как, однако, эта девочка мила и добра на вид! – И он опять впился глазами в карточку, лежащую под увеличительным стеклом. – Теперь я узнаю её, как только она ступит на порог!

Но этого могло и не случиться никогда! Чуть-чуть было так и не вышло! К счастью, мы узнали об опасности только, когда она уже миновала.

Молодые новобрачные счастливо и весело достигли Англии, а оттуда отправились на пароходе в Копенгаген. Они уже видели датский берег и белые песчаные дюны западной Ютландии, как вдруг поднялась буря, пароход налетел на риф и сел. Волны вздымались горами и грозили разбить его; нельзя было даже спустить спасательных лодок. Настала ночь, но вот, ночной мрак прорезала яркая ракета, пущенная на погибающий пароход с берега. Ракета перебросила на пароход канат, и между судном и берегом установилось сообщение. Скоро над тёмными бурными волнами заскользила по канату спасательная корзина с красивой молодой женщиной. Она была высажена на твёрдую землю, спасена! И как же была она счастлива, когда возле неё очутился и молодой её муж! Все пассажиры и команда парохода были спасены таким же способом ещё до рассвета.

А мы-то сладко спали у себя в Копенгагене, не думая ни о какой опасности, и только, когда мы все сидели за утренним кофе, до нас дошла полученная в городе по телеграфу весть о гибели английского корабля у западного берега. Сердце у нас так и упало. Но в ту же минуту подоспела и телеграмма от дорогих

наших молодых: они спаслись и скоро должны были быть у нас! Все плакали; плакал и я, и прадедушка. Потом он набожно сложил руки и – я уверен – благословил новое время.

В тот же день он пожертвовал двести риксдаллеров на памятник Гансу-Христиану Эрстеду<sup>[1]</sup>.

Когда вернулся со своею молодою женою Фредерик и услышал об этом, он сказал:

– Вот это дело, прадедушка! Теперь я кстати прочту тебе, что писал много лет тому назад о старом и новом времени сам Эрстед!

– Он, конечно, был твоего мнения? – спросил прадедушка.

– Ещё бы! – ответил Фредерик. – Да и ты теперь того же мнения, – иначе бы ты не внёс своей лепты на памятник ему!

---

<sup>[1]</sup>Эрстед, Ханс Кристиан, датский учёный, прославивший своё имя открытием электромагнитной силы.

(Голосов: **1**. Рейтинг: **5,00** из 5)

Загрузка...